



БЫВШАЯ
в его печати.
Лорд требует
год и день

Александр Витальев

Александр Витальев

Бывшая в его печати

«Автор»

2026

Витальев А.

Бывшая в его печати / А. Витальев — «Автор», 2026

Ясну Дорвен, бывшую судебную писаршу, драконий лорд Арт Северин публично бросил ради новой невесты прямо в храме перед всей знатью. Она уехала в столицу устраиваться помощницей лекаря при женской лечебнице, но на третий день печать на запястье вспыхнула синим огнем — развод не погасил древнюю клятву рода. По закону она еще год и день его жена, а залог долга Северинов — младшая сестра Арта, которую совет готов отдать замуж за казнокрада, если Ясна не вернется под кров бывшего мужа. Она возвращается ненадолго: устроить кухню, травяную кладовую и счетные книги, доказать совету свою деловую ценность и выкупить сестру собственным трудом. Но печать обжигает при каждой его лжи, открывает тайны через случайные прикосновения, а Арт спит в соседней комнате, и его новая избранница уже ждет ребенка, которого, по слухам, он хочет назвать наследником вместо Ясниного будущего сына. Сможет ли она отвоевать у бывшего мужа и печать, и право выбирать, с кем делить постель и имя?

© Витальев А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Слух в лечебнице	5
Глава 2. Свиток без подписи	11
Глава 3. Повестка с печатью	18
Глава 4. Дорожная сумка	25
Глава 5. Ворота усадьбы	32
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Александр Витальев

Бывшая в его печати

Глава 1. Слух в лечебнице

Я слышу собственный голос в каменном коридоре лечебницы Святой Алын, и он мне чужой, слишком ровный для женщины, у которой дрожат пальцы. На моем запястье под серой холщовой повязкой пульсирует синяя родовая печать Северинов, и я чувствую этот пульс сильнее, чем собственный. Лечебница пахнет сухим шалфеем, известкой и чужим потом, под потолком висит гулкая тишина, и я считаю шаги до двери приемной, чтобы не обернуться. Я шла сюда пешком через весь верхний город, несла тяжелый саквояж с травами и чистыми бинтами, и в этом саквояже лежала грамота, которую мне обещали выдать к полудню. Грамота помощницы лекаря, мой собственный кусок хлеба после развода, единственное, что я могла предложить сестре, кроме своего горя.

Зося ждала меня у дверей с плоской горячего отвара. Она не сказала ни слова, просто протянула чашку и кивнула на скамью, и я поняла по ее лицу раньше, чем она заговорила. Мастер Тирс отказал. Его печать на моем прощении есть, а грамоты нет, потому что я не могу расписаться свободной рукой. Пока на запястье живая печать рода Северинов, ни одна лечебница, ни одна гильдия, ни один храм не выдаст мне вольную. Эту печать поставил Арт у алтаря, когда я еще верила его тихим обещаниям, и она спасла меня от изгнания в сточный канал, но теперь она же не пускает меня в собственную новую жизнь.

Я поставила чашку на каменный подоконник, и руки у меня были холодные, а щеки горячие. Зося присела рядом, пахнула полынью и ромашкой и заговорила первой, громко, чтобы я не соскользнула в ту тишину, которую мне теперь носил за пазухой каждый прохожий. Она сказала, что весь верхний город уже шепчется о моем возвращении, что поверенный рода Северин Рон Кельт с самого утра сидел у мастера Тирса и оставил на столе увесистый кошель. Зося назвала его крысой в шелке и сплюнула в сторону, а потом посмотрела на меня и сказала тише, что совет продавил отказ за один день. Я кивнула, потому что иначе не могла, и переспросила только одно. Знала ли я об этом вчера ночью, у храма, когда отдавала последний грош писарю за копию долговой страницы. Зося мотнула головой, и я выдохнула, потому что мне нужна была хоть одна правда.

Я поднялась, затянула повязку на запястье ту же и пошла по коридору обратно, к выходу на площадь, к серому небу и к шуму повозок. Саквояж оттягивал плечо, и я переложила его в другую руку, чтобы не бросить на пол и не устроить сцену. Зося пошла следом, не отставая, и зашептала на ходу, что если я сейчас побегу к храмовому архиву, то успею до вечерней службы, и писарь Федот сменится с караула только к заутрене. Я остановилась, и она тоже остановилась, и мы стояли под каменной аркой в сквозняке, и этот сквозняк пах мокрым снегом и жареным луком из соседней лавки. Зося сжала мою руку выше печати и сказала мне в самое плечо, что если я хочу, чтобы совет подавился, я должна идти в архив и взять свою копию, пока Кельт не догадался послать туда своих людей.

Я спросила, что ей привезти из храма, и она засмеялась, и смех у нее был хриплый, куриный, и я тоже невольно улыбнулась. Потом она прибавила шаг, и я осталась одна на мостовой. Утренний колокол на башне святого Кая пробил шесть раз, и я пересчитала медяки в кошельке у пояса. Медяков было двенадцать, и из них шесть я должна была отдать за проезд в архив, четыре оставить себе на хлеб и кашу, а два приберечь на черный день, потому что черный день у меня теперь был каждый. Я тронула пальцами повязку на запястье, почувствовала, как под ней отзывается синяя нитка печати, и печать ожгла меня коротко, словно напоминание,

что Арт где-то в этом городе, в своем каменном доме, и дышит, и лжет, и думает, что я уже сломлена. Я развернулась к мосту, и мостовая зазвенела под моими каблуками, и каблуки у меня были стоптанные, чужие, одолженные Зосей, и я подумала, что мне нужны новые сапоги, когда я выкуплю сестру. Я не стала ждать.

Мостовая под ногами скользила от утреннего льда, и я шла мелкими шагами, держа саквояж ближе к боку, чтобы не задеть им встречного извозчика. Деньги на проезд лежали отдельно, в холщовом мешочке у пояса, и я чувствовала их сквозь ткань, как маленький тяжелый грех. Шесть медяков отдам, четыре оставлю, два приберегу, и эта арифметика звенела в голове громче колоколов на башне святого Кая. Я считала не для того, чтобы не сбиться, а потому что считать чужие деньги меня научил отец, а свои я так и не научилась тратить спокойно.

У моста через речку Святенку стоял перевозчик Степан, мужик с красным обветренным лицом, который знал меня с тех пор, когда я еще носила в храм свечи за здоровье мужа. Теперь он смотрел на мою повязку на запястье, и взгляд у него был такой, будто он жевал кислую репу. Я молча положила ему три медяка, потому что второй раз на этой неделе он возьмет с меня полную цену, и ступила на доски. Лодка качнулась, и я села на корму, прижав саквояж к коленям, и печать под повязкой отозвалась коротким сухим теплом, будто где-то далеко, в каменном доме на холме, Арт повернулся во сне.

На той стороне реки пахло квашеной капустой и дымом, и я ускорила шаг, потому что храмовый архив стоял за старой стеной, и до вечерней службы оставалось меньше двух часов. У ворот толпились нищие и торговки, и одна из них, тетка в грязном переднике, узнала меня и сказала соседке не стесняясь: вот, мол, бывшая хозяйка Северинов, теперь по миру ходит, а дракон ее уже новой невестой обнимает. Я не обернулась, потому что оборачиваться было нельзя, и потому что у меня не было на это ни секунды, ни сил. Саквояж оттягивал плечо, и я переложила его в другую руку, и пальцы у меня были холодные, а щеки горели, и это горело не от стыда, а от злости, которая у меня теперь жила где-то под ребрами постоянно, как второй пульс.

Внутри архива пахло старой бумагой, воском и холодным камнем. Писарь Федот сидел на своем обычном месте, за высокой конторкой, и переписывал что-то с одного листа на другой, и перо у него скрипело, как сверчок в январе. Он поднял голову, увидел меня, и лицо у него стало тем осторожным лицом, каким смотрят на чужую беду, когда не знаешь, чья она. Я подошла, положила на конторку два медяка и копию долговой страницы, которую он сам же сделал мне вчера ночью за грош, и сказала тихо, чтобы не услышал караульный у двери: мне нужен оригинал свитка развода, тот, что подписан советом, и тот, в книге клятв, где должна стоять подпись свидетеля-дракона. Федот положил перо, посмотрел на монеты, потом на меня, и сказал так же тихо: если тебя тут застанут, меня выгонят без выходного, а у меня внуки. Я кивнула и положила еще один медяк, потому что третий медяк был лишний, и я это знала, и он это знал, и мы оба знали, что я покупаю не бумагу, а его молчание на полчаса.

Он ушел в глубь стеллажей, и я осталась одна у конторки, и тишина вокруг была такая, что я слышала, как где-то капает вода в каменный желоб. Саквояж я поставила на пол, расстегнула, достала чистый лист и огрызок карандаша, и начала записывать то, что помнила из вчерашнего разговора с Зосей, слово в слово, потому что у меня не было права забыть. Кельт у мастера Тирса. Кошель на столе. Совет продавил отказ за один день. Это были не слухи, это были деньги, а деньги пахнут одинаково в любом доме, и в лечебнице, и в храме, и в кабинете поверенного.

Федот вернулся быстро, неся под мышкой тонкую кожаную папку, и положил ее на конторку, и руки у него чуть дрожали. Я открыла папку, развернула свиток, и сердце у меня ухнуло куда-то вниз, потому что в книге клятв Северинов под строкой о расторжении брака стояли две подписи, Арта и моя, а на месте свидетеля-дракона была пустая графа, только кляксу чернил

кто-то размазал пальцем, и клякса была свежая, маслянистая, не высохшая. Я посмотрела на Федота, и он отвел глаза, и я поняла, что он знал, что подменили, и молчал, и молчал не за медяк, а за страх перед советом, и я его за это не винила, потому что страх у нас теперь был один на двоих.

Я достала из саквояжа свой огрызок карандаша и переписала верхнюю строку свитка, и имя Арта, и дату, и пустую графу свидетеля, и кляксу, и у меня дрожала рука, и карандаш скрипел по бумаге. Печать под повязкой отозвалась коротким холодным уколом, и я стиснула зубы, потому что понимала, что это значит: где-то в городе Арт сейчас говорит неправду, может быть, жене, может быть, совету, может быть, себе, и моя кожа это слышит, и моя кожа мне не врет. Я свернула лист, спрятала его в нагрудный карман, под серое сукно, к самому сердцу, и положила на конторку последний медяк, потому что обещала. Федот посмотрел на монету, потом на меня, и сказал совсем тихо: уходи через задний двор, Ясна, у них там глаза длиннее, чем у святого Кая. Я кивнула, подхватила саквояж и пошла к черному ходу, и шаги мои гулко отдавались в пустом коридоре, и где-то за стеной, в караулке, звякнул медный таз, и я замерла на полсекунды, и потом пошла дальше, потому что мне теперь было что нести домой, кроме тяжелого саквояжа и стоптанных сапог.

Задний двор храма пах мокрой соломой и лошадиным потом, и я перехватила саквояж поудобнее, чтобы не задеть им сложенные у стены носилки. Калитка была приоткрыта, и за ней виднелась узкая улица, по которой возчики обычно вывозили пустые бочки из подвалов трапезной. Я толкнула калитку плечом, и петля скрипнула, и звук вышел такой, будто кто-то позвал меня по имени, и я на секунду зажмурилась, потому что мне сейчас не нужно было слышать его имя даже в скрипе.

На улице было пусто, и снег сыпался крупой, и я пошла вдоль стены, считая шаги до поворота, потому что считать шаги мне было проще, чем считать деньги. На девятом шаге печать под повязкой дернулась, и я едва не остановилась, потому что так она отзывалась только в одном случае: когда он был где-то близко и говорил неправду. Я замедлила шаг и стала смотреть по сторонам, и у крайнего дома, под вывеской цирюльника, стоял человек в темном плаще с поднятым воротником, и я узнала его по плечам прежде, чем по лицу, и у меня пересохло во рту.

Арт. Не один. Рядом с ним стояла женщина в собольей накидке, и лица ее я не видела, только духи, тяжелые, медовые, которые я узнала бы и через год, и через десять лет, потому что этими духами от него пахло в спальне в ту ночь, когда он вернулся поздно и сказал, что был в совете. Духи пахли так, будто кто-то плеснул мне за ворот горячего меда, и я сглотнула, и горло у меня стало тесным.

Он говорил ей что-то негромко, и она наклонила голову, и он накрыл ее руку своей, и рука у него была в черной перчатке, и я знала, что под перчаткой у него шрам от моего обручального кольца, которое он тогда не снял, а теперь, видно, снял и отдал ей. Я не слышала слов, и не хотела слышать, потому что мне хватало того, что печать жгла мне запястье ровно, несильно, но непрерывно, и эта ровность была хуже крика, потому что значила, что он сейчас врет спокойно, без усилия, как дышит.

Я могла уйти. Повернуть за угол, дойти до переулочка, сесть в лодку Степана и вернуться на тот берег, и никто бы не узнал, и я бы несла в саквояже свой лист с пустой графой свидетеля и свою злость, и этого было бы достаточно на сегодня. Но сапоги у меня были стоптанные, и каблуки скользили по утреннему льду, и я сделала шаг не назад, а вперед, и под моей ногой хрустнула вмерзшая в грязь соломинка, и он поднял голову.

Наши глаза встретились через три шага, и я увидела, как он сначала не понял, потом узнал, потом отдернул руку от руки женщины в собольей накидке, и это движение было такое резкое, что она качнулась к нему, и он ее не удержал. Я остановилась, и саквояж оттянул мне

плечо, и я перехватила его поудобнее, и сказала первое, что пришло в голову, и голос у меня был ровный, хотя внутри все дрожало.

Ты забыл подпись свидетеля, Арт. Я принесла тебе напомнить.

Он смотрел на меня, и лицо у него было такое, будто его ударили, и я ударила, и ударила точно, и печать под повязкой вспыхнула коротким синим огнем, потому что это была правда, и потому что ему было больно, и эта боль передалась мне, и я стиснула зубы. Женщина в накидке повернулась ко мне, и я наконец увидела ее лицо, и это была не Вера Торвей, а другая, с тонкими губами и родинкой у виска, и я поняла, что мне все равно, кто она, потому что любая женщина в его руках была бы сейчас той самой, и от этого мне было не легче.

Ясна, - сказал он, и имя мое он произнес так, будто пробовал его на вкус и оно обожгло ему язык. Зачем ты здесь.

Я кивнула на саквояж, и на нагрудный карман, где лежала моя копия свитка, и сказала: затем, что твой совет продал мне развод без дракона, а дракон пока жив, и пока он не расписался, твоя новая невеста спит в чужой постели. Печать снова дернулась, сильнее, и я охнула, потому что это была правда, и правда всегда жгла сильнее лжи.

Он сделал ко мне шаг, и я отступила, и между нами осталась лужа талой воды, и я не хотела, чтобы он трогал меня, и он не хотел, и от этого было хуже всего. Женщина позади него что-то сказала, и я не расслышала, потому что в ушах у меня звенело, и Арт, не оборачиваясь, поднял руку, и она замолчала, и этот жест я помнила, он так же поднимал руку мне, когда мы были женаты и кто-то входил в комнату, и теперь он так же поднимал руку чужой женщине, и от этого внутри у меня что-то сломалось тихо, без звука, как сухая ветка.

Я отвернулась первой. Не потому что мне было все равно, а потому что если бы я не отвернулась сейчас, я бы осталась стоять здесь, пока не упаду, а мне нельзя было падать, потому что в саквояже у меня лежала копия свитка, и в нагрудном кармане лист с правдой, и в холщовом мешочке у пояса четыре медяка, и где-то в городе Зося ждала меня с горячим чаем, и Лена ждала меня в усадьбе Северинов, и никто, кроме меня, не мог прийти.

Я пошла по улице, и снег сыпался мне на плечи, и я не оглядывалась, и печать под повязкой медленно остывала, и я считала шаги до поворота, один, два, три, и на четвертом услышала за спиной его голос, тихий, почти потерянный, и он сказал только одно слово, и я не расслышала какое, и не хотела расслышать, и все же кожа моя его услышала, и запястье под повязкой дрогнуло в последний раз, и я свернула за угол, и пошла дальше, потому что мне теперь было что нести домой, и нести это было тяжелее саквояжа, и легче саквояжа, и я несла это ровно, как несут чужой долг, который вдруг стал своим.

Саквояж больно бил по бедру, и я перекинула его на другое плечо, потому что правое уже горело, и не от печати, а от лямки, врезавшейся в ключицу. За углом цирюльни пахло дешевым табаком и мокрой псиной, и я пошла быстрее, чтобы выйти к реке, где воздух чище, и где меня не догонят ни его запах дыма и чужого мыла, ни шаги за спиной, которых я все равно слышала краем уха, хотя знала, что он не пойдет за мной по этой улице, потому что рядом с ним стоит женщина в собольей накидке, и он не может оставить ее на морозе, а раньше не мог оставить меня.

Лодка Степана стояла у причала, и я узнала ее по ободранному левому борту, и Степан сидел на корме, и руки у него были красные от веревки, и он увидел меня, и кивнул, и я подумала, что кивок этот стоит дороже любой грамоты лекаря, потому что он не смотрел на мое запястье, не искал глазами печать под повязкой, не спрашивал, зачем я таскаюсь по городу с копией чужого свитка. Я забралась в лодку, и он оттолкнулся, и весло скрипнуло, и мы пошли к тому берегу, и я положила саквояж на колени, и прижала его, и почувствовала сквозь кожу тепло монет, и это тепло было честнее всего, что случилось со мной за утро.

Зося ждала меня у лавки, и от нее пахло чабрецом и подгоревшим пирогом, и она молча поставила передо мной кружку, и я обхватила ее обеими руками, и обожгла пальцы, и не отдер-

нула, потому что эта боль была правильной, и она принадлежала мне, и никто не мог отнять ее вместе с титулом и клятвой. Я достала из нагрудного кармана лист, положила рядом с кружкой, и разгладила мокрым пальцем, и Зося наклонилась, и прочла, и брови у нее поползли вверх, и она сказала так, будто у нее в горле застряла косточка.

Саквояж надо переложить, лямка протерла ключицу до мокрого пятна, и я зашью ее у Зоси, потому что у самой руки трясутся. Я сняла лямку через голову, и сумка мягко упала на прилавок рядом с жестянкой, и из бокового кармана торчал уголок свитка, и я запихнула его глубже, чтобы снег не подобрался. Зося уже рылась в ящике с нитками, и я слышала, как она ворчит, что игла у нее одна, а заказчиц сегодня трое, и я сказала, что зайду завтра, и она сказала, что зашьет прямо сейчас, и не спорь, и я не стала спорить, потому что спорить с Зосей это все равно что спорить с морозом.

Она усадила меня на табурет у печки, и печка была теплая, и пахла смолой, и я вытянула руки к огню, и пальцы у меня покраснели, и Зося сказала, что руки у меня ледяные, и что таким рукам в лечебнице не место, потому что пациент пощупает и решит, что я его замораживаю, а не лечу, и я засмеялась, и смех вышел хриплый, и Зося посмотрела на меня, и я замолчала, и она молча вдела нитку, и начала шить лямку, и я смотрела на ее руки, и руки у нее были теплые и толстые, и я подумала, что у меня раньше тоже были такие руки, а теперь стали тонкие и горячие, и не от работы, а от печати.

Ты ведь не пойдешь сегодня к Зосе домой, сказала она, не поднимая глаз. Пойду, сказала я. Нет, сказала она. У тебя глаза как у волчицы, которая бежала через весь город, и теперь стоит у первой двери и не знает, войти или укусить. Я промолчала, и печать под повязкой дернулась, и я сжала зубы, и Зося отложила шитье, и достала из-под прилавка узелок, и развернула, и там лежал ломоть хлеба и кусок козьего сыра, и она положила передо мной, и сказала ешь, а потом пойдешь, и я ела, и хлеб был черствый, и сыр был соленый, и я ждала, что печать отзовется на соль, потому что соль всегда гасила ожог, когда мы с Артом ели за одним столом, но печать молчала, и я поняла, что молчание это хуже ожога, потому что от ожога хотя бы понятно, что лгут рядом, а от молчания непонятно ничего, и я доела хлеб, и вытерла руки о юбку, и сказала Зосе, что мне пора, и она сказала, что у нее в задней комнате есть топчан, и что я могу переночевать, и я сказала, что не могу, потому что Лена ждет, и Зося вздохнула, и пошла за мной к двери, и накинула мне на плечи свою шаль, и шаль пахла чабрецом, и я стояла в дверях, и снег летел мне в лицо, и я держала саквояж за новую лямку, и лямка была крепкая, и я была благодарна Зосе за иглу, и за хлеб, и за шаль, и за то, что она не сказала ни слова жалости, потому что жалость я бы не вынесла.

У лавки стоял Тимош, и я узнала его по кашлю, прежде чем узнала по лицу, и он кашлял в кулак, и от него пахло мокрым железом и конюшной, и я остановилась, и он подошел, и снял шапку, и сказал, что пришел от Лены, и я похолодела, и спросила, что с Леной, и он сказал, что с Леной все, просто совет переписал условия, и теперь к выкупу за нее прибавили четверть серебром, и усадьба не потянет, и я молчала, и печать под повязкой снова дернулась, и я поняла, что это не от лжи Арта, потому что Арт стоит у ворот своей усадьбы, а это от меня самой, от того, что я солгала себе, когда решила, что копия свитка спасет сестру быстрее, чем совет успеет поднять цену.

Тимош ждал, и снег садился ему на плечи, и я смотрела на его красные руки, и руки у него были такие же, как у Степана на лодке, и я подумала, что в этом городе у меня есть Степан, и Зося, и Тимош, и ни одного из них я не могу взять с собой за ворота Северинов, и я сказала Тимошу, что еду сегодня, и он кивнул, и я повернулась к нему спиной, и пошла к реке, и лямка несла саквояж ровно, и шаль Зоси грела мне плечи, и где-то за спиной в чужом доме Арт Северин, наверное, уже ужинал, и печать на его руке, может быть, впервые за месяц молчала, и я надеялась, что молчит, и злилась на себя за эту надежду, и все же шла, и шла ровно, и снег ложился мне на следы, и засыпал их, и к утру от следов не останется ничего, а от

меня останется, потому что у меня есть копия, и есть сестра, и есть ляпка, зашитая Зосиными руками, и этого пока хватит.

Ты понимаешь, что ты сейчас держишь в руках, девочка моя. Это не долговая страница, это приговор совету. Я кивнула. Понимаю.

Она сняла с полки жестяную коробку, и оттуда пахнуло сушеной мятой и лавровым листом, и она вытряхнула из коробки на прилавок связку сухих стеблей, и под ними лежали три медяка, и я узнала этот жест, она всегда прятала деньги в травах, потому что в травах никто не ищет. Я положила рядом с медями свой холщовый мешочек, и монеты звякнули, и Зося вздохнула, и сказала, что за такие деньги в порту можно снять комнату на месяц, а не платить переписчику, и я сказала, что переписчик мне нужнее комнаты, потому что комнату у меня отняли, а копию свитка у меня никто не отнимет, и Зося посмотрела на меня, и я прочла в ее глазах то, что она не сказала вслух, и она сказала вслух то, что я прочла.

Ты все еще его любишь, Ясна. Я промолчала, и кружка остывала у меня в руках, и я не пила, и Зося не настаивала, и мы сидели так, и за окном лавки шел снег, и на прилавке лежала копия свитка, и под свитком лежали мои медяки и ее медяки, и мы обе знали, что завтра я поеду в усадьбу Северинов, и печать на моем запястье будет гореть всю дорогу, и Арт будет стоять у ворот, и я впервые войду в этот дом не как жена, а как человек, у которого есть доказательство, и это доказательство стоит дороже любой грамоты лекаря, потому что грамоту можно отобрать, а копия свитка с пустой графой свидетеля-дракона останется со мной, и совету придется ее принять, и Арту придется ее прочесть, и печать под повязкой впервые за утро перестала жечь, и я почувствовала, как по запястью пошла мелкая дрожь, и это была не боль, и не облегчение, а что-то третье, чему я пока не знала имени, и я допила чай, и поставила кружку, и сказала Зосе, что мне пора, и она кивнула, и я вышла в снег, и саквояж лежал у меня в ногах, и в нем лежала моя новая жизнь, и она была тяжелой, и я несла ее ровно, как несут клятву, которую сама себе дала.

Глава 2. Свиток без подписи

Архив храма Семи Зорь пахнет старой бумагой, воском и пылью, которую тут никто не вытирает с тех пор, как сторел южный придел. Я вхожу через боковую дверь для писцов, той самой, которой меня учил открывать отец, и сразу слышу голос дьяка Глеба — он ворчит на кого-то в дальнем ряду. Мне это на руку. Чем больше он занят чужими просителями, тем меньше смотрит на меня.

Сапожок скрипит по каменному полу, левое плечо тянет от дорожной сумки, в которой лежит пустая тетрадь, огрызок свечи и медная копейка, отложенная с заработка в переписке. Печать на запястье молчит. Пока молчит.

Я заранее знаю, где искать. Книгу клятв Северинов записывали в верхнем левом ряду, на полке с медными застежками, потому что род платил за отдельный шкаф. В прошлый раз, когда я приходила за свидетельством о венчании, мне хватило одного взгляда на корешок, чтобы запомнить цвет и место. Сейчас я подхожу к полке как человек, которому нужна копия долговой записи, а не как женщина, которую выставили из дома.

Свиток развода лежит третьим сверху. Я узнаю его по красной ленте, которой обвязал руку поверенный Рон Кельт, когда забирал клятву из алтаря. Лента до сих пор пахнет его дорогими духами, и от этого запаха у меня сводит челюсть.

Я разворачиваю свиток на узком столе у окна. Свечу ставлю в медное кольцо, чтобы воск не капал на чужую запись. Восковых отпечатков на этой странице три. Мой собственный, синий, с гербом Дорвенов. Арта, темно-синий, с драконом Северинов. И третий, который должен быть подписью свидетеля-дракона, старейшины Вереса. Этот отпечаток есть, но он пустой внутри. Тонкая полоска воска с правильным рисунком, без личной метки. Если приложить к свету, видно, что внутри кто-то процарапал имя иглой, а потом залил трещину прозрачным воском. Подделка старая, не меньше года.

Я медленно выдыхаю и достаю тетрадь. Пальцы немеют, и я не знаю, от холода в архиве или от того, что у меня в груди сжимается что-то старое и глупое. Арт стоял у алтаря, смотрел мне в глаза и говорил, что любит. Я ему верила. Теперь я смотрю на чужую работу воска и иглы и понимаю, что верила зря.

Рука двигается сама. Я перерисовываю герб, положение печатей, процарапанную подделку, дату, имена свидетелей. Строка за строкой, как меня учили в судебной палате. Буквы выходят ровные, почти казенные, и от этого мне спокойнее. Когда записано, когда выложено в строку, от этого уже нельзя отвертеться.

За стеной раздаются шаги. Я не поднимаю головы. Если это дьяк Глеб, я покажу ему пустую тетрадь и скажу, что ищу запись о венчании, которую мне обещали еще в прошлом месяце. Если это кто-то из Северинов, я закрою свиток и уйду через боковую дверь. План простой. План держит меня на плаву, как лодку держит дно.

Когда я дописываю последнее слово, шаги стихают. Я задуваю свечу, складываю тетрадь в сумку и зажимаю локтем. Потом достаю медную копейку и иду в дальний угол, к столу, за которым сидит маленький, сухой от времени писарь.

— Мне нужна копия одной страницы, — говорю я тихо. — Законная, с вашей подписью. За медную копейку.

Он смотрит на меня поверх очков, видит синюю печать на запястье и хмыкает.

— Дорвен, — говорит он, как будто пробует фамилию на вкус. — Муж ваш у нас был на прошлой неделе. Брал выписку.

Я не вздрагиваю. Только сильнее сжимаю ремешок сумки.

— Выписку, — повторяю я. — Значит, и копия мне положена.

Он кричит, отодвигает табурет и идет за мной к столу. Я разворачиваю страницу, указываю на подделку подписи и смотрю, как его лицо меняется. Сначала профессиональное равнодушие. Потом удивление. Потом короткая, злая усмешка, потому что он писарь старой школы и видит подделку так же ясно, как я.

— Медная копейка, — говорит он наконец и садится за стол.

Я отдаю монету и стою рядом, пока он пишет. Копия выходит сухой, четкой, с его подписью и датой. У меня в руках документ, за который в суде покупают голоса. У меня в руках доказательство, что мой развод — пустая бумага, и совет Северинов прекрасно об этом знает.

Печать на запястье впервые за день отзывается коротким, холодным уколом. Не болью. Предупреждением.

Я выхожу из архива в боковую дверь, и холодный ноябрьский ветер сразу бьет в лицо. В сумке лежат тетрадь и копия. Впереди у меня три дня пути до усадьбы Северинов и одна луна, которую мне отмерил совет. Позади — мужчина, который целовал мне руку у алтаря и при этом заранее подменил свидетеля.

Я перехожу площадь, не оглядываясь. Дорога домой, к чужому дому, к чужому столу, к чужому долгу, у меня уже началась.

Медная копейка ложится на стол с сухим стуком, который в пустом архиве слышен так же ясно, как приговор. Я считаю до трех, пока писарь сверяет мою копию с оригиналом, и на счет три он поднимает на меня выцветшие глаза.

— Законная, — повторяет он, пробуя слово. — Законная за медную копейку, девонька. Это тебе не хлебная корочка.

У меня в кармане еще две копейки, отложенные на обратную дорогу, и серебряный гривенник, который отец сунул в руку на прощание. Я не беру отцовских денег уже два года, но гривенник ношу, как носят чужой зуб в кармане, на память о том, что должна.

— Законная, — говорю я. — С вашей подписью и числом. Больше ничего.

Писарь кричит, поправляет очки и макает перо в плошку. Чернила у него жидкие, рыжие, почти как дешевая кровь. Я стою рядом и смотрю, как он выводит дату, имена, гербы. Пальцы у меня стынут, и я зажимаю их под мышкой, чтобы не тряслись. Не от холода. От того, что эта бумажка стоит мне дороже, чем вся моя прежняя жизнь в стенах Северинов.

Скрипит дверь.

Я не оборачиваюсь. Слышу шаги по каменному полу, тяжелые, неторопливые, с тем ленивым звуком, какой бывает у людей, привыкших, что им открывают. Запах дыма и дорогого мыла доходит до меня раньше, чем голос. Я узнаю его телом, не головой, и это самое тошное, что со мной случилось за всю неделю.

— Ясна.

Я заканчиваю считать вдох. Раз, два, три. Оборачиваюсь. Арт стоит у дальнего стеллажа, в зимней куртке Северинов, с поверенным Роном за плечом. Печать на моем запястье отзывается мгновенно, холодной иглой под кожей. Он пришел за той же полкой. За той же записью. Совет отправил его забрать оригинал, пока я не успела.

Я медленно опускаю рукав и прижимаю тетрадь к груди.

— Муж, — говорю я ровно. — Или уже бывший.

Арт делает шаг вперед, и я вижу, как он бледнеет под загаром. Писарь поднимает голову, смотрит на нас поверх очков и начинает медленно снимать руки со стола. Это не его дело. Это не его битва.

— Совет велел забрать свиток, — говорит Арт. — Я не знал, что ты здесь.

Печать жжет сильнее, и я впервые за месяц чувствую, что совпадений не бывает. Он пришел забрать единственную улику, которая делает мой развод недействительным. И он говорит, что не знал.

— Не знал, — повторяю я тихо, и печать ожогом проходит вверх по предплечью, до самого локтя. — Конечно, не знал.

Рон Кельт выступает вперед, гладкий, как новенький гривенник, и кладет на стол писаря серебряную монету.

— Копия с приложением печати архива, — говорит он, не глядя на меня. — По решению совета.

Писарь смотрит на монету, потом на мою медную копейку, потом на меня. Я вижу, как у него сжимаются губы. Старый писарь, который видел больше разводов, чем свадеб.

— Девонька первая, — говорит он наконец, не двигая монету. — Я уже начал.

Я выдыхаю. Арт смотрит на писаря так, будто тот ударил его по лицу. Рон открывает рот, потом закрывает. Я стою, прижимая к груди тетрадь, в которой уже записано главное, и не двигаюсь. Пусть копию заберут. Пусть унесут в совет. У меня в сумке сухой лист с подписью писаря и с числом, у меня в памяти процарапанная иглой подмена, и у меня на запястье печать, которая только что обожгла меня за его ложь.

Печать горит, значит он врет. Значит совет знал, что я приду за этой полкой. Значит меня ждали.

— Копию я заберу, — говорит Арт тихо, и я слышу в его голосе что-то, чего раньше не слышала. Усталость. — Ясна, пожалуйста.

Рука с копией ложится на стол. Писарь отодвигает серебряную монету Рона в сторону и пододвигает мне мой лист.

— Законная, — говорит он мне. — С подписью и числом. За медную копейку.

Я беру копию, складываю в сумку, перехватываю ремешок и иду к боковой двери. Мимо Арта, мимо Рона, мимо запаха дыма и чужого мыла, от которого у меня сводит пальцы. На пороге я останавливаюсь.

— Твоя печать горит, — говорю я, не оборачиваясь. — И моя тоже. И мы оба знаем почему.

Дверь закрывается за мной с тяжелым, сырым стуком. На крыльцо падает первый снег, мелкий и колкий, и я считаю свои копейки, пока спускаюсь по ступеням. Две медных, один серебряный. И копия, за которую в суде покупают голоса. Дорога домой начинается прямо сейчас.

Медная копейка ложится на стол с сухим стуком, который в пустом архиве слышен так же ясно, как приговор. Я считаю до трех, пока писарь сверяет мою копию с оригиналом, и на счет три он поднимает на меня выцветшие глаза.

— Законная, — повторяет он, пробуя слово. — Законная за медную копейку, девонька. Это тебе не хлебная корочка.

У меня в кармане еще две копейки, отложенные на обратную дорогу, и серебряный гривенник, который отец сунул в руку на прощание. Я не беру отцовских денег уже два года, но гривенник ношу, как носят чужой зуб в кармане, на память о том, что должна.

— Законная, — говорю я. — С вашей подписью и числом. Больше ничего.

Писарь кряхтит, поправляет очки и макает перо в плошку. Чернила у него жидкие, рыжие, почти как дешевая кровь. Я стою рядом и смотрю, как он выводит дату, имена, гербы. Пальцы у меня стынют, и я зажимаю их под мышкой, чтобы не тряслись. Не от холода. От того, что эта бумажка стоит мне дороже, чем вся моя прежняя жизнь в стенах Северинов.

Скрипит дверь.

Я не оборачиваюсь. Слышу шаги по каменному полу, тяжелые, неторопливые, с тем ленивым звуком, какой бывает у людей, привыкших, что им открывают. Запах дыма и дорогого мыла доходит до меня раньше, чем голос. Я узнаю его телом, не головой, и это самое тошное, что со мной случилось за всю неделю.

— Ясна.

Заканчиваю считать вдох. Раз, два, три. Оборачиваюсь. Арт стоит у дальнего стеллажа, в зимней куртке Северинов, с поверенным Роном за плечом. Печать на моем запястье отзывается мгновенно, холодной иглой под кожей. Он пришел за той же полкой. За той же записью. Совет отправил его забрать оригинал, пока я не успела.

Медленно опускаю рукав и прижимаю тетрадь к груди.

— Муж, — говорю ровно. — Или уже бывший.

Арт делает шаг вперед, и я вижу, как он бледнеет под загаром. Писарь поднимает голову, смотрит на нас поверх очков и начинает медленно снимать руки со стола. Это не его дело. Это не его битва.

— Совет велел забрать свиток, — говорит Арт. — Я не знал, что ты здесь.

Печать жжет сильнее, и я впервые за месяц чувствую, что совпадений не бывает. Он пришел забрать единственную улику, которая делает мой развод недействительным. И он говорит, что не знал.

— Не знал, — повторяю тихо, и печать ожогом проходит вверх по предплечью, до самого локтя. — Конечно, не знал.

Рон Кельт выступает вперед, гладкий, как новенький гривенник, и кладет на стол писаря серебряную монету.

— Копия с приложением печати архива, — говорит он, не глядя на меня. — По решению совета.

Писарь смотрит на монету, потом на мою медную копейку, потом на меня. Вижу, как у него сжимаются губы. Старый писарь, который видел больше разводов, чем свадеб.

— Девонька первая, — говорит он наконец, не двигая монету. — Я уже начал.

Выдыхаю. Арт смотрит на писаря так, будто тот ударил его по лицу. Рон открывает рот, потом закрывает. Стою, прижимая к груди тетрадь, в которой уже записано главное, и не двигаюсь. Пусть копию заберут. Пусть унесут в совет. У меня в сумке сухой лист с подписью писаря и с числом, у меня в памяти процарапанная иглой подмена, и у меня на запястье печать, которая только что обожгла меня за его ложь.

Печать горит, значит он врет. Значит совет знал, что я приду за этой полкой. Значит меня ждали.

— Копию я заберу, — говорит Арт тихо, и я слышу в его голосе что-то, чего раньше не слышала. Усталость. — Ясна, пожалуйста.

Рука с копией ложится на стол. Писарь отодвигает серебряную монету Рона в сторону и пододвигает мне мой лист.

— Законная, — говорит он мне. — С подписью и числом. За медную копейку.

Беру копию, складываю в сумку, перехватываю ремешок и иду к боковой двери. Мимо Арта, мимо Рона, мимо запаха дыма и чужого мыла, от которого у меня сводит пальцы. На пороге останавливаюсь.

— Твоя печать горит, — говорю, не оборачиваясь. — И моя тоже. И мы оба знаем почему.

Дверь закрывается за мной с тяжелым, сырым стуком. На крыльцо падает первый снег, мелкий и колкий, и я считаю свои копейки, пока спускаюсь по ступеням. Две медных, один серебряный. И копия, за которую в суде покупают голоса.

Дорога домой начинается прямо сейчас.

Снег забивается за ворот, и я плотнее натягиваю платок. На ступенях храма уже лежит тонкая белая каша, и мои сапоги оставляют в ней четкие следы, пока я считаю копейки в кошельке на поясе. Две медных, серебряный гривенник отца, который я не просила, и копия за медную, которая в суде стоит дороже серебра. Этого хватит, чтобы дойти до ночлежки на Овсяной, где за гривенник дают угол у печи и миску похлебки. Этого не хватит, чтобы уехать из города.

Слева, под навесом, где обычно стоят извозчики, сегодня никого. Справа, у торговых рядов, слышен стук молотка и чей-то смех. Я не смотрю туда. Смотрю на собственные руки, на синюю полосу под рукавом, которая все еще тлеет, как уголь в золе. Ложь бывшего мужа живет в моей коже уже час, и я привыкаю к ней, как привыкают к чужому дыханию в темной комнате.

— Госпожа Дорвен.

Голос сзади, у самого крыльца, негромкий, с той вкрадчивой хрипотцой, какую я помню по судебным заседаниям. Рон Кельт, поверенный Северинов, стоит на верхней ступени, прижимая к груди свернутый в трубку свиток. Оригинал. У него за спиной, в тени колонны, маячит стражник в синей шапке стражи замка, и я пересчитываю его до того, как успеваю подумать. Один. Лицо каменное, руки на поясе. Не для меня, а для порядка.

— Вы ошиблись адресом, — говорю ровно. — Муж меня больше не касается.

Рон спускается на две ступени, и я чувствую запах его духов, сладкий, удушливый, как в приемной у судьи. Он не подходит ближе положенного, и это единственное, за что я готова его не ненавидеть.

— Совет не ошибается, госпожа. Совет велел передать вам вот это.

Он разворачивает свиток. Я узнаю печать совета, черную, с гербом Северинов, и под ней, ниже, мою собственную подпись, выцветшую, но целую. Свиток о разводе. Тот самый, за которым он только что приходил в архив.

— Он недействителен, — говорю я, и собственный голос звучит мне в уши чужим, слишком спокойным. — Без подписи свидетеля-дракона он не стоит и этой бумажки, на которой написан.

Рон улыбается. Улыбка у него профессиональная, отработанная на сотне таких же, как я.

— Совет уполномочен засвидетельствовать. Печать совета заменяет подпись отсутствующего свидетеля. Это право рода.

— У рода нет такого права, — отвечаю я. — Есть обычай. Обычай, который совет отменил в прошлом году по делу Вязовых. Я сама переписывала решение.

— Госпожа, — говорит он мягко, и эта мягкость хуже любого крика. — Совет рассмотрел ваше дело отдельно.

Печать под рукавом отзывается раньше, чем я успеваю вдохнуть. Горячая игла проходит от запястья к локтю, и я невольно сжимаю пальцы. Рон замечает, и его улыбка становится тоньше. Стражник за его спиной делает полшага вперед, и я понимаю, что он здесь не для порядка. Он здесь для меня.

— Дайте прочесть, — говорю я.

Рон не двигается. Свиток остается у него в руках, и я вижу, как на белой бумаге, там, где должна быть подпись свидетеля, темнеет свежая клякса. Чернила жирные, блестящие, явно не успели просохнуть. Печать совета прижата сверху, прямо поверх кляксы. Совет поставил свою печать поверх чужой подписи, которой не было.

Я поднимаю глаза. Рон ждет.

— Зачем вы принесли это мне? — спрашиваю я тихо. — Чтобы я сама увидела ложь?

— Чтобы вы знали цену вашему молчанию, госпожа. Сестра лорда Арта, Мира, через луну уходит залогом в дом Торвеев. Этот свиток, — он кладет ладонь на бумагу, — отменяет ваш развод. И возвращает вас под кров мужа. С сестрой, с долгом, с печатью. Решайте.

Снег падает ему на плечо, тает на темном сукне, и я смотрю, как капля ползет вниз, к локтю. У меня в сумке копия за медную, у отца в кабаке должок за вино, у сестры в приюте Святой Алын сундучок с приданым, которое не стоит и гривенника. У меня на руке синяя полоса, которая сейчас жжется так, что хочется содрать кожу.

— Решайте, — повторяет Рон.

Ступени храма остаются за спиной, и снег тут же забивается под подол, тает на чулке холодной каплей. Я перехватываю сумку поудобнее, чувствуя, как копия в боковом кармане

шуршит о гривенник отца, и сворачиваю не к Овсяной, где меня ждет угол у печи, а влево, к рядам. Мне нужна не ночлежка. Мне нужен прилавок Зоси.

Лавка травницы Рындиной стоит на углу, между мясником и старьевщиком, и пахнет так, что я узнаю ее за два дома: сухой шалфей, мокрая мята, сено и что-то горькое, вроде полыни. Над дверью покачивается вывеска с нарисованным вороньим крылом, и я толкаю створку плечом, не давая себе передумать.

Зося стоит за прилавком, руки по локоть в сушеных корнях, косынка съехала на бок. Увидев меня, она замирает на полуслове, потом медленно вытирает ладони о фартук и смотрит, как я стряхиваю снег с плеч.

— Плохо выглядишь, — говорит она вместо приветствия. — Хуже, чем в прошлый вторник.

— В прошлый вторник я была жива, — отвечаю я и кладу на прилавок копию. — Зося, мне нужна твоя работа. И твой совет.

Она разворачивает лист осторожно, как разворачивают больного, читает долго, шевеля губами, и я вижу, как у нее сжимаются пальцы на краю бумаги. Потом поднимает на меня глаза.

— Это подлинник копии?

— Подлинник. За медную, у писаря.

Зося коротко присвистывает и идет к заварочному крюку. Чайник у нее всегда горячий, даже в мороз, и через минуту передо мной стоит жестяная кружка, от которой пахнет мятой и чем-то хвойным. Я обхватываю ее обеими ладонями, и запястье под рукавом отзывается тупой, тянущей болью, но хотя бы не горит. Здесь, у Зоси, врать не о чем, и печать это понимает.

— Долг, — говорит Зося, постукивая пальцем по строчке с цифрой. — Три тысячи серебром. Это за усадьбу и за сестру?

— За усадьбу, за сестру, и за мое молчание, — киваю я. — Только цифры лгут, Зося. Я работала в суде писаршей, я видела настоящие реестры Северинов. Там и тысячи не набиралось. Здесь приписано лишнее серебро, вот здесь, и вот здесь, и еще вот в этой строке про мельницу.

Она смотрит на меня, потом снова на лист, и я вижу, как у нее меняется лицо: сначала удивление, потом та деловая, цепкая внимательность, ради которой к ней ходит весь рынок.

— Подделано профессионально, — говорит она наконец. — Кто-то сидел с настоящей книгой и аккуратно вписывал лишние строки. Бумага одна, чернила те же, даже клякса в углу та же. Но приписано, Ясна, приписано грубо. Кто-то торопился.

— Совет торопился, — говорю я. — Совет хочет успеть до зимы.

Зося откладывает копию, идет к запертому шкафчику в углу, достает плоскую жестянку с сушеными корнями и ставит передо мной.

— Это твоя сестра, да? — спрашивает она, не оборачиваясь. — Мира.

— Мира, — киваю я. — Ее отдадут за Торвея, если я не вернусь.

— Не отдадут, — говорит Зося и впервые улыбается, без обычной своей язвительности, по-деловому. — Не отдадут, потому что я знаю одну травницу из дома Торвеев, которая задолжала мне за три фунта зверобоя. И я знаю, где лежат настоящие реестры их прихода-расхода за последние пять лет. Дай мне три дня и медную на расходы, и я принесу тебе доказательство, что Торвеи в долгу у Северинов, а не наоборот.

Я смотрю на нее, и у меня горят щеки, не от печати, а от чего-то другого. От того, что у меня снова есть союзник, и союзник этот не считает меня дурой.

— Серебро, — говорю я и кладу на прилавок гривенник отца. — Возьми. На расходы и на свою лавку. Я отработаю.

Зося смотрит на монету, потом на меня, и я вижу, как она прикусывает нижнюю губу, чтобы не сказать что-то жалостливое. Зося не верит в жалость. Зося верит в расчет.

— Иди домой, — говорит она наконец и забирает монету. — Согрейся. Завтра к вечеру я пришлю записку через мальчишку с мельницы. И вот это возьми, — она сует мне в руки жестянку с корнями. — Сушеная рябина и чабрец. Завари и пей на ночь, чтобы не сорваться, когда печать занает.

Я прижимаю жестянку к груди, и она оказывается теплой от ее рук, пахнувшей мятой и пылью. В кармане шуршит копия. За дверью лавки идет снег, густой, ровный, и я знаю, что до ночлежки на Овсяной мне идти четверть часа, и что завтра я проснусь с планом, а не с отчаянием.

— Зося, — говорю я у порога. — Если тебя спросят про меня, скажи, что не видела.

— Скажу, что ты мне должна за зверобой, — отвечает она. — Это чистая правда, и проверить ее никто не сможет.

Я выхожу в снег, и дверь за мной закрывается с тяжелым стуком, и я считаю свои шаги до ночлежки: ровно триста двадцать два, по камням мостовой, мимо рядов, мимо кабака, в котором сидит мой отец и не знает, что я только что купила себе зиму.

— Передайте совету, — говорю я, и голос у меня ровный, как линия на бумаге, — что я иду домой. В свой дом. И что через луну сестра Арта будет учиться счету, а не вышивке.

Рон опускает свиток. Улыбка у него наконец пропадает, и я вижу за ней усталость, похожую на ту, что видела у Арта. Они устали от меня. Они устали от собственной лжи.

Я разворачиваюсь и иду вниз по ступеням, считая копейки, шаги и удары сердца. Дорога домой начинается прямо сейчас, и у меня в сумке достаточно, чтобы купить сестре зиму.

Глава 3. Повестка с печатью

Я зашивала подол чужой рубашки, когда в дверь рыночной лавки Зоси ударили трижды — коротко, властно, как стучат только те, кому обязаны открывать. Нитка в пальцах дрогнула, иголка кольнула подушечку большого пальца. Я подняла голову, прижала шитье к колену.

Зося, стоявшая у прилавка с связкой сушеного чабреца, замерла. Лицо у нее стало таким, каким бывает, когда в лавку заходит сборщик подати: подбородок выше, глаза уже.

За дверью стоял Рон Кельт. Я узнала его по голосу, когда он назвал мою фамилию — ровно, почтительно, с той вежливой паукой, в которой уже сидел капкан.

Я встала. Иголку воткнула в подол, чтобы не потерять, руку вытерла о передник. На пороге стоял не сам Кельт, а рассыльный, мальчишка лет пятнадцати, в куртке с гербом Северинов — синий дракон на белом поле, прошитый по шву медной нитью. Он держал свиток, запечатанный сургучом, и смотрел куда-то мимо меня.

Ясна Дорвен, — сказал он так, будто имя было частью протокола. — Совет рода Северинов требует вас к зачитанию.

Я взяла свиток. Сургуч был горячий — или мне показалось, потому что печать на моем запястье дернулась, кольнула холодом, потом жаром. Живая, невыводимая, она отзывалась на любую бумагу, где стояла подпись Арта, даже если я не видела самой подписи.

Зося шагнула ко мне, задела прилавок, чабрец рассыпался по столешнице.

Стой здесь, — сказала я ей тихо. — Если через час не вернусь, сожги мою копию из храма. Ту, с долговой страницей.

Она кивнула. Я заметила, как у нее побелели костяшки пальцев на связке трав.

Ратуша была в двух кварталах. Я шла по мокрому камню мостовой, и свиток жег мне ладонь сквозь ткань рукава. Город пах углем, пивом и навозом — обычная утренняя вонь, от которой я давно отвыкла в усадьбе, а потом снова привыкла. В кармане передника лежали три медяка, отложенные на хлеб, и это были все деньги, которые у меня были.

В зале совета пахло деревом и старым воском. За длинным столом сидели трое: двое старых, один — Кельт. Арта не было. Это меня кольнуло сильнее, чем я ожидала, и я тут же разозлилась на себя за этот укол. Он прислал своего человека зачитывать мне приговор. Не соизволил.

Я положила свиток на стол, раскрыла, не дожидаясь разрешения. Сургуч хрустнул.

Кельт наклонил голову, голос его был мягкий, почти сочувствующий, и от этой мягкости меня затошнило.

Долг усадьбы Северинов перед домом Торвей переходит в залог, — начал он. — По решению совета, залогом объявляется несовершеннолетняя сестра лорда Арта, Мира Северин. Цена выкупа — две тысячи серебряных крон. Срок уплаты — одна луна.

Я перечитала цифру. Потом еще раз. Потом подняла глаза на Кельта.

Сколько, вы сказали.

Две тысячи, — повторил он, не моргнув. — По курсу гильдии.

Я знала цену серебра. Я шесть лет вела счетные книги в усадьбе Северинов. Я знала, сколько стоит крыша над конюшней, сколько стоит годовой запас зерна на сорок ртов, сколько стоит выездная карета, и сколько стоит кронный заем у ростовщиков Торвея. Две тысячи — это была цена небольшого поместья, не долг захудалой северной усадьбы. Эта цифра была нарочно сделана такой, чтобы я не смогла заплатить. Чтобы единственным выходом оставалось то, что они уже написали в конце свитка, мелким, аккуратным почерком.

В случае неуплаты залог передается дому Торвей, а бывшая супруга лорда Арта обязана вернуться под кров рода для исполнения клятвенного общего крова сроком на год и день, либо по решению совета лишается права голоса и опеки.

Я прочитала последнюю строчку вслух. Голос у меня был ровный, и я гордилась тем, что он ровный. Печать на запястье горела ровно, синим, не мигая, потому что ни Арта, ни его прямой лжи в комнате не было. Горела за то, что я только что подумала о нем.

Один из старых советников, с бледными водянистыми глазами, кашлянул.

Срок — одна луна с сегодняшнего дня, — сказал он. — Неявка считается отказом от прав.

Я сложила свиток пополам, потом еще раз, и убрала в карман передника. Бумага легла на медяки. Я посмотрела на Кельта, и он почему-то отвел взгляд, словно я была той, кого стоит бояться в этой комнате, а не он.

Передайте лорду Арту, — сказала я, — что я прочла.

И вышла, не дожидаясь кивка. На пороге ратуши я остановилась, достала из кармана свой почерневший от пота медяк и крепко сжала его в кулаке. На коже запястья синяя печать медленно гасла, и под ней, глубже, начинало ныть — тихо, ровно, как ноет кость перед дождем. У меня была луна. У меня не было двух тысяч. У меня была сестра Арта, которую я не собиралась отдавать ни за какие кроны, и бывший муж, который даже не пришел посмотреть мне в глаза, как в прошлый раз у алтаря.

Я разжала пальцы, вытерла мокрый медяк о передник и пошла обратно к Зосе. Мне нужно было успеть скопировать долговую страницу, пока в храме тихо.

У Зоси в лавке пахло чабрецом и подгоревшей кашей. Я переступила порог, и она сразу увидела мое лицо, потому что отложила ступку, не донеся пестик до края. На столе перед ней лежала раскрытая тетрадь, та самая, куда я вчера переписала зерновые запасы усадьбы за последние три года, и я подумала, что в этом городе у меня больше нет тайн, кроме той, что я ношу на запястье.

Закрой дверь, — сказала я. — На замок.

Она закрыла. Замок у нее был новый, медный, с секретом, который я сама ей показала: три оборота влево, один вправо, до щелчка.

Я выложила свиток на прилавок, развернула, придавила сушеной головкой чеснока, чтобы не свернулся. Две тысячи крон. Зося прочитала цифру, посмотрела на меня, потом снова на цифру, и я видела, как у нее дрогнула нижняя губа. Она считать любила и умела, и она понимала, что это значит.

Это цена небольшого поместья, — сказала она.

Это цена, чтобы я не заплатила, — ответила я. — Чтобы я пошла обратно под его крышу.

Зося убрала чеснок, пальцем провела по строке с моей фамилией, остановилась на слове «залог». Я заметила, что у нее на скулах выступили красные пятна, и это было хуже любых слов, потому что Зося не краснела из-за чужих денег, она из-за них ругалась трехэтажным матом.

Садись, — сказала она. — Сейчас принесу воды.

Я не села. Я подошла к окну, отодвинула край занавески. На улице, у самой лавки, стоял мальчишка-рассыльный из ратуши, делая вид, что изучает вывеску цирюльника напротив. Я опустила занавеску.

За мной следят, — сказала я, не оборачиваясь.

Зося поставила кружку на прилавок с таким стуком, что чабрец в связках закачался.

Сядь, Ясна, — повторила она, и в голосе у нее появилась та интонация, которой она пользовалась, когда лечила свою младшую сестру: мягко, без права отказаться. — У тебя луна. Ложись на лавку, я заварю пустырник, у тебя руки трясутся.

У меня руки не тряслись. У меня руки были заняты: я расстегивала кожаный мешочек на поясе, доставала оттуда свою тетрадь, огрызок карандаша и копию долговой страницы из храма, ту, что писарь переписал мне за грош и плоску каши. Зося стояла надо мной, и я чувствовала запах полыни от ее платка.

Сядь, — сказала она в третий раз.

Я села. Положу тетрадь на колени, раскрыла на чистой странице, и начала считать вслух, по пальцам, чтобы Зося слышала и могла проверить.

Сорок ртов в усадьбе, — сказала я. — Из них четырнадцать слуг, пятеро конюхов, кухарка с дочерью, две прачки, ключница Марта, три стражника у ворот. Плюс сам Арт, плюс Мира. Плюс гости, если приедут. Зерна на год нужно тридцать две меры, крупы двенадцать, соли четыре. Свечей сальных — двадцать, восковых — шесть. Мыла хозяйственного — мешок. Мешок мыла у Торвея стоит одиннадцать крон, я помню цену, я сама покупала.

Зося слушала, сложив руки под грудью, и я видела, как она шевелит губами, повторяя цифры.

Это если без серебра на жалованье, — продолжала я. — Жалованье слугам за год — триста крон, конюхам — сто, кухарке — сорок. Конюшня, крыша над конюшней, забор, карета, починка кареты — это отдельная статья, это не долг, это жизнь. Две тысячи крон — это не долг усадьбы, Зося. Это цена, которую совет назначил, чтобы я туда вернулась.

Печать у меня на запястье дрогнула. Я непроизвольно потеряла руку о колено, и кожа под тканью рукава отозвалась коротким уколом, будто кто-то ткнул меня раскаленной иглой. Это сработала не ложь Арта — его в лавке не было. Это сработала моя собственная мысль, та, которую я засунула глубоко и о которой не хотела говорить вслух: я уже знала, что вернусь.

Зося перехватила мой жест, наклонилась, осторожно отогнула край рукава. Синяя печать лежала у меня на запястье, как маленький выжженный дракон, свернувшийся кольцом. Кожа вокруг порозовела, по краям проступила тонкая сетка капилляров, как от ожога.

Он там сейчас с ней, — сказала Зося, и я поняла, что она имеет в виду Ниру Сольскую. — Иначе бы печать не звенела.

Она не знала, права ли была, но угадала точно, и я ей за это была благодарна и злилась одновременно. Я опустила рукав, застегнула манжету на пуговицу.

Это не его ложь, — сказала я. — Это моя.

Зося посмотрела на меня так, как смотрит человек, который привык лечить и устал от пациентов, которые врут сами себе. Потом она наклонилась, вытащила из-под прилавка глиняную бутылку, плеснула в кружку темного отвара, поставила передо мной.

Пей, — сказала она. — Это не пустырник, это зверобой с мятой. От злости помогает, от глупости — нет.

Я выпила. Горько, с запахом сена и дыма. Я закрыла тетрадь, убрала в мешочек на поясе, копию долговой страницы спрятала во внутренний карман, свиток с печатью совета свернула и сунула в рукав. У меня была луна. У меня была тетрадь, в которой я знала каждую цифру этой усадьбы лучше, чем сам Арт. У меня было две тысячи крон, которых у меня не было. И у меня была Зося, которая смотрела на меня поверх кружки, и взгляд у нее был такой, словно она уже прикидывала, сколько трав сможет продать в кредит, чтобы моя сестра не уехала в дом Торвеев.

Спасибо, — сказала я.

Она отмахнулась, но убрала бутылку обратно под прилавок, а кружку мне оставила, и я заметила, что на дне остался осадок из мятных листьев, мелкий, почти черный. За стеной лавки проехала телега, стекло в окне тонко задребезжало, и я впервые за утро подумала, что у меня есть не только долг, но и работа, которую я умею делать руками: считать, записывать, сверять, и если совет думает, что я не смогу пересчитать их же долг по их же книгам, то совет плохо меня знает.

Зося не успела убрать кружку — колокольчик над дверью лавки звякнул, и вошел Тимош Вязов.

Я узнала его раньше, чем он снял шапку: по запаху конского пота и оружейной смазки, по тому, как он остановился у порога, втягивая ноздрями воздух, будто чужая лавка могла оказаться засадой. Потом он увидел меня, и плечи у него опустились. Он был в форме дру-

жинника Северинов, в синем кафтане с воротом, стянутым шнурком, и я поняла, что совет прислал своего человека проверить, дошла ли до меня повестка, и дошла ли я до слез.

— Здравствуй, Ясна, — сказал он.

— Здравствуй, Тимош.

Он перевел взгляд на Зосю, потом обратно на меня, и я видела, как он ищет слова, которые прозвучат не как приказ. Он не нашел.

— Меня прислал управляющий, — сказал он наконец. — Узнать, приняла ли ты повестку.

— Приняла, — сказала я. — Передай управляющему, что я приняла.

Тимош кивнул и не ушел. Он стоял у двери, переминаясь с ноги на ногу, и я заметила, что у него на сапоге подсохшая глина — наша, северная, серая, жирная, такая бывает только на подступах к усадьбе. Он был там утром. Он видел, как Арт выходил из дому, и видел, к кому он поехал, и совет знал, и теперь совет знал, что я тоже узнаю.

— Арт сегодня у Торвеев, — сказал Тимош, глядя в пол. — С Нирой Сольской. Сва- таться.

Я почувствовала, как печать под рукавом наливается тяжелым, ровным теплом — не ожо- гом, нет, хуже: подтверждением. Это была правда, и печать не могла меня уколоть за правду, она могла только показать, что моя кровь уже знает то, что мне еще предстоит узнать.

— Зачем ты мне это говоришь? — спросила я.

Тимош поднял на меня глаза. Он служил моему отцу, когда я была девочкой, и я помню его руки — широкие, с вьевшейся в кожу солью от конской упряжи, — помню, как он сажал меня на лошадь и обещал, что не отпустит поводья. Сейчас поводья были чужие.

— Потому что у твоей сестры глаза твоей матери, — сказал он тихо. — И потому что у меня перед твоим отцом долг.

Зося кашлянула. Она стояла за прилавком, скрестив руки, и смотрела на Тимоша с тем выражением, которым она встречала мужчин, приносящих дурные вести: с профессиональным сочувствием и готовностью продать им что-нибудь горькое.

— Сядь, — сказала она ему. — У меня есть отвар, и у меня есть новости, которые ты отвезешь обратно, если хочешь сохранить место.

Тимош сел. Я заметила, что он сел на табурет у окна, спиной к двери, как сидят люди, привыкшие, что сзади никто не войдет. Зося налила ему из той же бутылки, поставила кружку на прилавок. Тимох посмотрел на отвар, на меня, на Зосю, и я видела, как он решает, можно ли пить из рук женщины, которая торгует травами в двух шагах от ратуши.

— Пей, — сказала Зося. — Это не приворот и не отравка. Это зверобой.

Он выпил. Я смотрела, как он морщится, и думала о том, что Тимох Вязов — первый человек из дома Северинов, который вошел ко мне не с приказом, а с предупреждением. Это меняло мало, но это меняло что-то.

— У меня есть копия долговой страницы, — сказала я. — Я хочу, чтобы ты передал ее Арту. Не совету, не управляющему, не поверенному. Арту. В собственные руки.

Тимох посмотрел на меня поверх кружки.

— Арт не читает чужих бумаг, — сказал он.

— Арт прочтет эту, — ответила я. — Потому что на ней его почерк, и он это узнает.

Я вынула из внутреннего кармана копию, развернула, положила на прилавок. Строчки, переписанные писаром, ложились ровно, только цифра «две тысячи» была написана не его рукой, но сумма прописью — «двухтысячного долга» — была. И на полях, там, где писарь оставил место для помет, стояла маленькая буква «С», выведенная тонким пером, чернилами того же цвета, что и подпись под долговой. Я не была уверена, что эта буква значит «Северин». Но я знала, что Арт поймет, и я знала, что когда он это поймет, его рука с карандашом дрогнет.

Тимох посмотрел на бумагу, потом на меня, и я видела, как он взвешивает. Он служил роду. Он присягнул. Но он помнил моего отца, и он помнил, как пахнет сено в нашей старой конюшне, и я поняла, что он возьмет.

Он взял. Сложил бумагу вчетверо, сунул за пазуху, под кафан, и я заметила, как у него дрогнули пальцы, и как он сжал их в кулак, чтобы я не увидела.

— Передам, — сказал он. — Если найду его одного.

— Найди, — сказала я.

Тимох поднялся, надел шапку, пошел к двери. У порога он остановился, не оборачиваясь, и сказал:

— Мира тебя ждет. Она сказала кухарке, что если ты не приедешь за ней к концу луны, она сама уйдет пешком в город.

Дверь за ним закрылась. Колокольчик звякнул. Зося выдохнула, и я услышала, как у нее под платком стукнуло сердце — громко, неровно, как у человека, который долго держал дыхание.

— Ну, — сказала она. — Ты только что отдала свое главное оружие дружиннику, который служит твоему бывшему мужу.

— Я отдала ему письмо, — сказала я.

— Это одно и то же.

Я убрала тетрадь обратно в мешочек, застегнула. На прилавке остался мятный осадок в кружке, и крошки чесночной головки, и я смотрела на них, и думала, что у меня осталось двадцать девять дней, и одна копия долговой страницы, и одна сестра, которая грозит уйти пешком по первому снегу, и один бывший муж, который через час получит бумагу, от которой у него сведет пальцы. Я положила на прилавок монету — за отвар, за чеснок, за утро, в которое я впервые за месяц почувствовала, что не одна считаю дни до конца луны.

— Я приду завтра, — сказала я Зосе. — Мне нужна сухая мята и чистый пергамент, много пергамента. И пустая бутыль.

— Бутыль для чего?

— Для соли, — сказала я. — У меня в усадьбе есть соль, и я хочу привезти свою. Свою, Зося. Чтобы хотя бы соль на его столе была моей.

Дверь за Тимохом закрылась, а я все стояла у прилавка, и пальцы мои не отпускали край мешочка с тетрадью, и под рукавом синяя печать медленно остывала, как будто ей надоело меня предупреждать. Зося молча собрала кружки, вытерла прилавок мокрой тряпкой, и запах зверобоя смешался с запахом чеснока и мятного осадка, и в этой смеси было что-то очень мое, то, чем я теперь пахла: долгом, лекарством и тишиной перед дорогой.

Я пересчитала медяки. Двадцать три, один лишний, медный, с дыркой — такой дают за работу, которую никто не хочет делать. На дорогу до усадьбы хватит, если не есть в трактире у моста. Я убрала деньги в пояс, затянула, проверила, держит ли узел. Узел держал. Я сама зашивала подкладку прошлой ночью в углу храма, пока писарь жег свечу над чужой свадебной грамотой, и шила криво, потому что руки тряслись, но нитка теперь не лопнет, даже если уроню сумку в грязь.

Зося поставила передо мной глиняную миску с кашей, густой, с салом, и я поняла, что она сварила ее заранее. Она варила кашу, пока я разговаривала с Тимохом, и ничего не сказала, и теперь стояла, скрестив руки, и смотрела, как я ем. Я ела деревянной ложкой, медленно, потому что горячее обжигало, и думала, что в усадьбе меня такой кашей кормить не будут, там каша на воде и хлеб черствый, и Марта подаст все это на стол, за которым уже будет сидеть новая невеста, а я буду стоять у стены, потому что мне не указали место.

— Ленке напиши, — сказала Зося, не глядя на меня. — Не Арту. Сестре. Коротко, одно слово, что едешь. Чтобы она не ушла пешком по снегу, как обещала.

Я кивнула. У меня не было бумаги, кроме той копии, что уехала с Тимохом, и я вырвала из тетради чистый лист, положила на колено, достала карандаш. Писать было нечем, карандаш сухой, и я лизнула грифель, как делала в суде, когда кончались чернила, и вывела крупно, печатными буквами, чтобы Ленка прочла сразу: «Еду».

Я свернула лист вчетверо, не заклеивая, и отдала Зосе. Зося посмотрела на лист, на меня, и спрятала его за пазуху, не спрашивая, как передаст, потому что у нее в городе были свои люди, и они ходили к усадьбе Северинов с товаром каждую среду.

— Иди, — сказала она. — У тебя луна, а не жизнь.

Первые шаги по обледелой мостовой отдавались в висках вместе с тупой болью в плече, и я перехватила лямку сумки поудобнее, чтобы ткань не резала кожу. Пальцы замерзли, и я спрятала их под мышку, не выпуская мешочек с тетрадью, и пошла к обозной площади, где по утрам стояли подводы до Северного тракта. Город просыпался тяжело, с лязгом засовов и хрипом торговков, и снежная крупа забивалась в ворот, таяла на шее, и я чувствовала, как под тканью медленно теплеет синяя печать, словно предчувствуя чужой дом, чужой очаг, чужого мужа, к которому я иду не как жена, а как заложница.

У моста я остановилась. На прилавке у дороги торговали горячими пирогами, и запах мяса с луком ударил в нос, и я достала из кармана медную монету с дыркой, перевернула в пальцах. Такие дают за работу, которую никто не хочет делать, и я подумала, что эта монета — самая честная из всех, что у меня остались. Купила пирог, завернутый в серую бумагу, откусила прямо на морозе, и тесто обожгло небо, и я жевала, глядя на Северный тракт, по которому завтра тронется обоз.

— Ясна?

Голос был чужой, женский, и я обернулась. На краю прилавка стояла Вера Торвей, новая невеста Арта, в дорогом синем платье, в чужой шубе, с горностаем на воротнике, и смотрела на меня так, будто я была букашкой на ее скатерти. Рядом с ней стояла служанка, держала сверток с лентами, и я сразу поняла, что они возвращаются из лавки готового платья, потому что у Веры на виске блестела новая шпилька, серебряная, с камнем.

— Вот так встреча, — сказала Вера, и голос ее был мягким, и улыбка была мягкой, и от этой мягкости у меня свело челюсть. — Я слышала, ты в городе. Думала, ты уже в усадьбе.

— Завтра, — сказала я, и пирог во рту стал горьким.

— Завтра, — повторила она, и улыбка ее дрогнула, и я увидела в ее глазах то, что она хотела спрятать: злость. — Арт будет рад. Он скучает, хотя и не говорит. А я стараюсь его не тревожить, у него сейчас совет, долги, печати, — она произнесла последнее слово с нажимом, и я почувствовала, как печать у меня на запястье дернулась, будто отзываясь на чужую ложь. — Надеюсь, ты не удержишься в городе. Совет ждет.

Я смотрела на нее, и в голове у меня было пусто и звонко, как в колоколе после удара. Она не знала, что я иду в усадьбу не по своей воле. Она не знала про повестку, про долг, про сестру. Она думала, что я вернулась к мужу, как возвращаются к очагу, и эта мысль была ей как кость в горле, и она не могла ее сглотнуть, и я впервые за месяц почувствовала что-то похожее на тихую, мелкую радость.

— Совет подождет, — сказала я. — Я задержусь ровно на столько, на сколько мне нужно.

Вера подняла бровь. Служанка переступила с ноги на ногу, и горностаи на воротнике качнулись, и я подумала, что эта шуба стоит больше, чем мой пояс с монетами, и больше, чем вся моя тетрадь с цифрами, и что Арт платит за эту шубу из тех денег, которые совет называет долгом усадьбы.

— Будь осторожна на дороге, — сказала Вера, и голос ее снова стал мягким, и улыбка снова стала мягкой, и я поняла, что она ничего мне не сделает сейчас, на людях, но она запомнила, и она запомнила надолго. — Северный тракт в эту пору не самый безопасный.

Я кивнула, не поблагодарив, и пошла к мосту, и спина моя горела под ее взглядом, и я не оборачивалась, и пирог в руке остыл, и я доела его на ходу, и крошки сыпались на снег, и я думала, что у меня двадцать девять дней, одна копия долговой страницы, одна сестра, и одна новая невеста, которая смотрит мне в спину и не может дожидаться, когда я уйду.

Я накинула платок, подхватила мешок, и сумка оттянула плечо, и подкладка, зашитая мной ночью, твердо держала дно, и я почувствовала, что сумка — это первое, что я собрала за месяц так, как хочу сама. В храме я ночевала чужой милостью, в лечебнице мне отказали, у Зоси я грелась у чужого очага, а сумка была моя, и в ней лежала тетрадь с моими цифрами, и мой медный пояс с моими монетами, и чистый лист, на котором мне больше нечего было написать, кроме «еду».

На пороге лавки я остановилась. На улице пахло дымом и подмерзшей грязью, и ветер бил в лицо мелкой снежной крупой, и я подняла ворот, и печать под тканью отозвалась тихим теплом, не ожогом, нет, обещанием. Завтра я сяду в обоз до Северного тракта, послезавтра буду у ворот, и Арт увидит меня в своем дворе, и печать заговорит, и мне впервые за месяц не нужно будет ничего прятать, потому что прятать мне больше нечего, кроме сестры, а за сестру я сегодня уже заплатила одним листом бумаги и одной монетой за чужой отвар.

Колокольчик над дверью лавки звякнул вслед. Зося смотрела мне в спину, и я знала, что она сейчас закроет дверь, вымоет миску, сядет за прилавок и будет ждать завтрашнего утра, и я вернусь, и мы будем считать дни вместе, и это тоже было моим, и печать об этом молчала, потому что молчать тут было не о чем.

Глава 4. Дорожная сумка

Кожу на указательном пальце я прокусила еще до рассвета. Иголка скользнула, нитка затянула узел, и капля крови упала прямо на темно-синее сукно дорожной сумки. Я прижала палец к губам, слизнула железный привкус и решила, что это к удаче. Кровь на новой сумке, которую я шью сама, своими руками, в съемной комнате у рыбного ряда, куда меня пустили за два медяка в сутки, потому что хозяйка пожалела бывшую писаршу с печатью Северинов на запястье.

Сумка получалась широкой, почти как повитуха из старой кожи. Я вшивала двойное дно, в карман клала копию долговой страницы, переписанную вчера в храме, и тяжелый медальон с гербом Северинов, который мне вернули вместе с цепью. Медальон я не носила на шее, положила в сумку, чтобы не видеть драконьей морды каждый раз, когда случайно опускаю взгляд на грудь.

На столе у окна лежали мои медяки. Я разложила их кучками: на дорогу до северной усадьбы, на харч в дорогу, на ночлег в храме, на подарок ключнице Марте, чтобы не встретила меня у ворот с веником. Пальцы считали быстро, привычно, так, как меня учил отец, когда я еще сидела в его судейском кабинете. Теперь у меня было двенадцать медяков и серебряная монета в кошельке. Хватит на три дня пути, если не есть горячего и не заходить на постоянные дворы.

Я затянула последний стежок, откусила нитку и посмотрела на сумку. Сукно было старое, отцовского кафтана, который я распорол на части еще в первый месяц после развода. Ткань хранила запах его табака и дешевой водки, и я знала, что буду чувствовать его в дороге. Это было мое наказание за то, что я не смогла его остановить, когда он подписывал закладную.

Солнце уже поднялось над крышами, когда я спустилась по лестнице и пошла через рынок к храму Святой Алын. Город пах жареной рыбой, навозом, мокрым деревом. Я шла быстро, не глядя по сторонам, чтобы никто не успел шепнуть мне вслед слово «разлучница» или «невенчанная». Печать на запястье молчала, потому что я не лгала о своих чувствах, но она все равно ныла, как старый шрам перед дождем.

В храме было прохладно и пахло ладаном, воском и старым деревом. Я подошла к знакомому писарю, отцу Никодиму, который сидел в углу у копировального стола и переписывал брачные записи. Он поднял голову, увидел меня, снял очки и положил их на свиток.

— Ясна, — сказал он тихо. — Я думал, ты уже уехала.

— Еще нет, отец Никодим. Я пришла попрощаться.

Он кивнул и подвинулся, давая мне место на лавке. Я села, положила сумку на колени и сказала:

— Я возвращаюсь в усадьбу Северинов. По повестке совета.

Писарь долго молчал, потом потер подбородок и сказал:

— Ты знаешь, что у него теперь невеста?

— Я знаю, что у него долг, — ответила я. — Невеста — это способ его закрыть.

— Ее зовут Вера Торвей, — сказал отец Никодим. — Она была здесь на прошлой неделе, ставила свечку за здоровье будущего мужа. Красивая, в дорогом меху, с мальчиком на руках.

Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица. У меня закружилась голова, и я ухватилась за край стола.

— С мальчиком? — переспросила я.

— С мальчиком лет двух, — сказал писарь. — Говорят, племянник. Но она его не выпускала из рук и целовала в макушку, как мать.

Я закрыла глаза. Мне было двадцать пять лет, и у меня никогда не было детей. У меня не было даже кошки. А у моего бывшего мужа, который развелся со мной при всем дворе, теперь была невеста с чужим ребенком на руках, и она ставила свечки за его здоровье в моем храме.

— Спасибо, отец Никодим, — сказала я. — Я заплачу вам за ночлег, как договаривались. Он покачал головой.

— Ночуй, сколько нужно. Я постелил тебе в углу, за ларями. Там тепло, и тебя никто не увидит.

Я достала кошелек, но он накрыл мою руку своей сухой ладонью.

— Я был другом твоего деда, — сказал он. — Он бы не простил мне, если бы я взял с тебя медяк в такую ночь.

Я положила кошелек обратно в сумку, встала и пошла в угол за ларями. Там стояла узкая койка, накрытая серым одеялом, и горела маленькая глиняная лампада. Я села на койку, сняла сапоги и посмотрела на печать. Она светилась слабым синим светом, как всегда перед расставанием. Я знала, что утром печать загорится сильнее, когда я переступлю порог усадьбы Северинов, и мой бывший муж почувствует, что я вернулась.

Я легла, натянула одеяло до подбородка и закрыла глаза. Мне снился мальчик с руками Арта, и Вера Торвей в дорогом меху, и моя собственная сумка, в которой вместо копии долговой страницы лежал ключ от чужой спальни.

Проснулась я от того, что кто-то возился у ларя с брачными записями. Скрипнула половица, звякнула чернильница, и я села на койке, прижимая к груди одеяло. Сумка лежала рядом на лавке, тяжелая, набитая так плотно, что в ней что-то тихо хрустнуло, когда я потянулась к сапогам. Это хрустнул засушенный стебель полыни, который я зашила в подкладку, чтобы копия долговой страницы не отсырела в дороге.

Отец Никодим уже сидел за своим столом, согнутый, с новой стопкой свитков. Утренний свет падал на его седую голову через узкое окно, и я видела, как дрожат его пальцы, когда он макает перо в плошку. Я натянула сапоги, подошла к нему и положила на край стола серебряную монету. Он посмотрел на монету, потом на меня, и я сказала:

— Это не за ночлег. Это за копию.

Писарь прикрыл монету ладонью, как шахматную фигуру, и убрал в ящик стола. Я знала, что он отдаст эти деньги нищим у ворот, потому что отец Никодим всегда так делал. Мне было не жалко. Мне было нужно, чтобы между нами остался долг, иначе его доброта висела бы на мне тяжелее любого седла.

— Ты едешь сегодня? — спросил он, не поднимая глаз.

— Сейчас, — ответила я. — Пока снег не пошел. Мне нужно быть у ворот усадьбы к полудню, иначе совет запишет неявку и выдаст Миру за Торвея без моей подписи.

Он кивнул, вытащил из-под стопки свитков маленький кожаный мешочек и протянул мне. В мешочке звякнуло.

— Это что?

— Соль, — сказал он. — И сухари. Дорога дальняя, а у тебя в сумке, я вижу, только бумаги.

Я хотела отказаться, но вспомнила, что ела в последний раз вчера утром у рыбного ряда, и соль с сухарями показались мне честнее любой монеты. Я взяла мешочек, сунула его в боковой карман сумки и затянула ремень. Сумка легла на плечо привычно, как будто я носила ее всю жизнь, хотя шила всего одну ночь. Швы были крепкие, двойные, я проверяла каждый стежок зубами и иглой.

Из храма я вышла через боковую дверь, чтобы не идти мимо прихожан. Слух о моем возвращении уже мог дойти до рынка, а мне не хотелось, чтобы кто-то из бывших клиентов отца увидел меня с сумкой и печатью на запястье. Я шла по узкому переулку вдоль глухой стены монастырского сада, по щиколотку в мокрой листве, и считала шаги. Двести шагов до

развилки, четыреста до северной заставы, потом семь верст по тракту до поворота к усадьбе Северинов. Выходило к полудню, если не будет дождя и если лошадь на постоялом дворе у моста не запросит больше двух медяков за провоз до поворота.

У моста меня остановил знакомый голос.

— Ясна.

Я обернулась. На камне у воды сидел Тимош Вязов, бывший дружинник моего отца, в старом стеганом кафтане и с вязанкой хвороста у ног. Он не поднялся, только сдвинул шапку на затылок и посмотрел на меня так, будто проверял, не подменили ли меня по дороге.

— Ты куда собралась с такой сумкой? — спросил он.

— Домой, — сказала я и сама удивилась этому слову. Дома у меня давно не было. Была съемная комната у рыбного ряда, был храм за медяк, был отец, который пил и подписывал закладные. Но слово вырвалось, и печать на запястье не обожгла, потому что я сказала правду. Я возвращалась туда, откуда меня выгнали, и это был мой дом, пока на моем запястье горела чужая клятва.

Тимош поднялся, отряхнул кафтан, подошел ко мне и молча взял у меня из рук сумку. Я дернула было ремень, но он сжал мою руку чуть выше запястья, там, где под кожей синела печать, и я почувствовала, как она дрогнула. Не обожгла, а именно дрогнула, как будто узнала его.

— Я довезу тебя до поворота, — сказал он. — У меня лошадь у кузнеца, я и так туда еду. Сумку понесу я, а ты носи свою голову, она тебе дороже.

Я кивнула, потому что спорить с Тимошем было бесполезно. Он служил моему отцу, когда тот еще судил, и помнил меня двенадцатилетней девчонкой, которая приносила ему в казарму пирожки. Теперь он служил роду Северинов, но смотрел на меня так, будто моя кровь все еще была ему приказом.

Мы шли к кузнецу молча. Тимош нес мою сумку на левом плече, и я видела, как она оттягивает ему кафтан. Я несла свой страх в правом кармане, где лежала копия долговой страницы, и этот страх был тяжелее любой ноши. У кузнеца Тимош свистнул, из-за забора вышла гнедая кобыла с подстриженной гривой, и он посадил меня в седло одним движением, как ребенка.

— Спасибо, — сказала я сверху.

Он не ответил, только взял повод и пошел рядом, и сумка моя, притороченная к задней луке, тихо покачивалась в такт его шагам. Я смотрела на его широкую спину и думала о том, что у меня снова есть лошадь подо мной и мужчина рядом, и оба они не мои. Кобыла была чужая, дружинник был чужой, дорога вела в чужой дом, и только печать на запястье была моя, и она молчала, потому что впервые за месяц я не соврала ни себе, ни ему.

Дорога от моста до поворота заняла почти час, потому что Тимош вел кобылу шагом, и копыта ступали мягко, по размокшей глине, и каждая кочка отдавалась в моем теле тупой усталостью. Я сжимала повод слишком крепко, пальцы затекли, но я не разжимала их, потому что так мои руки были заняты и мне не приходилось думать о том, что через два часа я переступлю порог дома, из которого меня выгнали на глазах у всего двора. Ветер тянул с реки сыростью и прелым камышом, я втягивала этот запах и старалась запомнить его, как запоминают чужое имя, чтобы потом не путать с тем, что ждет меня за поворотом.

Тимош молчал. Он умел молчать лучше любого монаха, и я была ему за это благодарна. Мне не хотелось разговоров про отца, не хотелось советов, как себя вести с Артом, не хотелось чужих слов о том, что я молодец, что я еду спасать сестру, что я сильная. Я была не сильная, я была замерзшая и голодная, и единственное, что меня грело, это мешочек с солью и сухарями в боковом кармане, прижатый к бедру. Я достала один сухарь, разломил и посыпала солью, протянула половину Тимошу. Он взял, кивнул, и мы жевали молча, глядя на серую ленту тракта, уходящую в сторону усадьбы Северинов.

На подъеме кобыла пошла бодрее, и я почувствовала, как от седла начинает ныть спина. Сумка за спиной Тимоша покачнулась, и я увидела, что он перехватил ремень поудобнее, придержал, чтобы не сползала. Простое движение, но от него у меня сжалось горло, потому что так раньше делал Арт, когда мы ездили на ярмарку в соседний город, и я сидела впереди него, а он придерживал мой саквояж одной рукой, чтобы не сбить мне спину. Я тряхнула головой, отгоняя это воспоминание, и печать на запястье кольнула, как будто я сама себе соврала. Может, и соврала. Может, я ехала в чужой дом не только ради сестры, и эта маленькая правда жгла сильнее соли на сухарях.

На повороте, где тракт нырял в ельник, Тимош остановил кобылу, спешился и подал мне руку. Я спрыгнула сама, не глядя на его ладонь, но он все равно подхватил меня под локоть, и его пальцы легли точно поверх синей печати. Я замерла, потому что клятва дрогнула снова, но не обожгла, а как будто прислушалась. Тимош почувствовал это, нахмурился, отпустил и отступил на шаг.

— Дальше я не пойду, — сказал он тихо, глядя на ельник. — Усадьба на твоей совести и на твоей печати. Мне туда соваться нельзя, я присягнул роду.

Я кивнула. Он снял с задней луки мою сумку, поставил на поваленный ствол и постоял, не зная, что делать с руками. Потом полез за пазуху, вытащил маленький кожаный футляр и протянул мне.

— Что это?

— Писарь из канцелярии совета, Кельт, — сказал Тимош, и я увидела, как у него дернулась скула. — У него в услужении мой племянник. Если что пойдет не так, если совет начнет давить, отдай футляр Кельту и скажи, что от Вязова. Это не спасение, но это день на раздумья, чтобы ты успела написать в столицу.

Я взяла футляр, сунула в нагрудный карман под рубашкой, и он лег холодной пластинкой мне под ключицу. Футляр был тяжелый, там были не монеты, а какие-то бумаги, и я не стала спрашивать какие. Меньше знаешь, крепче спишь.

— Спасибо, — сказала я снова, и голос у меня сел.

Тимош кивнул, взял кобылу под уздцы, и она пошла за ним обратно к мосту, и я слышала, как хрустит гравий под ее копытами, пока звук не растворился в шуме ельника. Я осталась одна с сумкой у своих ног, с футляром под рубашкой, с печатью, которая молчала, и с дорогой, которая вела прямо к воротам усадьбы Северинов. Над ельником вился дым, и я поняла, что дым идет не из лесной сторожки, а из кухонной трубы чужого дома, где меня ждали. Я подняла сумку, перекинула ремень через плечо, поправила футляр под ключицей и шагнула на тропу.

Тропа вилась через ельник узкой лентой, и хвоя под ногами пружинила мягко, будто кто-то заранее подстелил мне под стопу чужую жалость. Сумка била по бедру в такт шагу, и я перехватила ремень выше, к самому плечу, чтобы не оттягивала ключицу. Футляр под рубашкой я ощущала отдельно: холодная пластинка, чуть царапающая кожу при каждом вдохе, и от нее по телу расходился мелкий озноб, хотя воздух в ельнике стоял сырой и теплый, пахнущий смолой и прелой землей.

На выходе из леса тропа расширилась, и я увидела крышу усадьбы. Черепица была мокрая, темная, и над ней лениво вился дым из кухонной трубы, а ниже, над конюшней, висел сизый хвост, и я поняла, что там жгут старую солому, чтобы согреть лошадей. Значит, в доме уже проснулись, и где-то в правом крыле, в кабинете, Арт пьет свой утренний отвар из горьких трав, и запах этого отвара через открытое окно достает до конюшни. Я узнала эту привычку слишком хорошо, и печать под рукавом кольнула предупреждающе, будто я опять позволила себе чужое воспоминание.

Я замедлила шаг. До ворот оставалось саженой сто, и у меня было время пересчитать то, что я знаю наверняка, и то, что я только думаю, будто знаю. Наверняка: долговая страница подделана, печать совета на ней не та, свидетеля-дракона на разводе не было, а значит, я по-

прежнему жена Арта по праву рода. Наверняка: сестру Миру совет отдаст за Торвея, если я не вернусь под эту крышу до истечения луны. Наверняка: у меня в нагрудном кармане лежит футляр от Вязова, и это единственная взятка, которая у меня есть, если совет решит давить. А дальше шли домыслы, и от них у меня сосало под ложечкой: говорят, у Арта новая невеста из дома Торвеев, говорят, ее привезли в усадьбу на прошлой неделе, говорят, она уже распоряжается в кладовой и выгнала прежнюю кухарку. Говорят. Слово, которое в нашем городе стоит дешевле медяка, но жалит больше печати.

Ворота были открыты. Не настежь, а ровно на одну створку, как будто меня ждали, но не хотели показывать, что ждут. У правого столба сидел кот, серый, с подранным ухом, и он посмотрел на меня так, будто я вернулась слишком поздно. Я переступила порог и почувствовала, как под подошвой хрустнул свежий гравий, специально подсыпанный, чтобы следы гостей были видны хозяину. Значит, в доме меня ждали, и не только ждали, а считали шаги.

Первым меня встретил запах. Не кухонный дым и не сено из конюшни, а тяжелый, сладкий, чужой аромат розовой воды и амбры, и он тянулся из приоткрытого окна второго этажа, из комнаты, которая раньше была моей. Я остановилась. Печать на запястье вспыхнула синим, не от боли, а от узнавания: этот запах я уже слышала в храме, у алтаря, когда Арт целовал руку новой невесты и печать жгла меня через всю площадь. Теперь этот же запах висел над моим бывшим домом, и я поняла, что меня не просто позвали обратно. Меня позвали на чужую территорию, где для меня уже вытерли мои следы и надушили чужими духами.

Из-за угла кухни вышла Марта. Она несла ведро с помоями, увидела меня, поставила ведро наземь и выпрямилась. Лицо у нее было такое, какое бывает у людей, когда они хотят сказать слишком много, а времени слишком мало.

— Барыня, — сказала она тихо, и у меня в груди что-то дрогнуло, потому что она была единственной, кто в этом доме еще называл меня так.

— Марта Ильинична, — ответила я и почувствовала, как голос у меня садится.

Она подошла ближе, оглянулась на окно второго этажа, откуда тянуло розовой водой, и быстро сунула мне в руку холодную связку ключей. Три ключа, разного размера, один из них я узнала сразу: от кладовой, от которой у меня остался шрам на ладони, потому что замок там заедал и я тогда порезалась, а Арт залил мне порез своей рубашкой. Марта перехватила мой взгляд, и я увидела, как у нее дернулась скула, совсем как у Тимоша полчаса назад.

— Она в твоей спальне, барыня, — сказала Марта одними губами. — Он привез ее во вторник, и совет молчит. А я молчать больше не буду.

Я сжала связку. Один из ключей, самый маленький, был от счетной палаты, и я это поняла по форме бородки. Теперь у меня была кладовая, реестры и право войти, но не было права выгнать ту, кто уже сидел в моей постели. Я перекинула сумку на другое плечо, спрятала связку под полу плаща и посмотрела на Марту.

— Спасибо, — сказала я.

Крыльцо встретило меня запахом мокрого дерева и лака, который я сама когда-то велела подмешивать в смолу, чтобы перила не скользили зимой. Никто не отменил мой заказ, и от этого внутри стало горше, чем от чужих духов наверху. Я поставила сумку на ступень, пересчитала связку еще раз, уже на свету: первый ключ, тяжелый, от кладовой; второй, со стертой бородкой, от счетной палаты; третий, узкий, от боковой двери в сад, через которую служанки таскали воду из колодца. Я помнила все три замка на ощупь, и память сидела в пальцах точнее любой карты.

Внутри было теплее, чем я ждала, и пахло свечным воском, подгоревшей кашей и чем-то кислым, лекарственным. У порога лежал половик, тот самый, с вышитым оленем, который я купила на ярмарке за три серебряных, и он был вытерт до дыр на сгибе, но лежал ровно, как будто его расстилали специально к моему приходу. Я переступила через него и вдруг поняла, что мне некуда идти прямо сейчас: ни в свою спальню, где теперь пахнет розовой водой, ни в

гостевую, потому что меня никто туда не звал, ни на кухню, потому что Марта сама пришла ко мне во двор, и я еще не поняла, что это значит — приглашение или просьба.

Я выбрала кладовую. Не из храбрости, а потому что ключ от нее грел ладонь сквозь плащ, и это было единственное место в этом доме, куда я могла войти на своем праве, а не на чужом дозволении. Коридор к служебному крылу был узкий, с низким потолком, и моя сумка задевала стены, оставляя на свежей побелке темные полосы от масла. Я заметила, что побелка свежая, и это меня укололо сильнее, чем я ожидала: значит, к моему приезду не только расчистили двор, но и подновили стены, чтобы я не увидела на штукатурке следов чужой жизни. Значит, мое отсутствие тут тоже кто-то подмел.

У двери в кладовую я остановилась. Замок был тот же, тяжелый, с тугой пружиной, и я знала, что если повернуть ключ резко, он заест, и тогда бородака обожжет мне пальцы. Я вставила ключ медленно, ровным движением, и почувствовала, как пружина уступила с тихим щелчком, будто мы с этим замком давно не виделись и теперь здороваемся осторожно. Дверь открылась, и изнутри пахло холодной крупой, сушеной мятой и чуть-чуть плесенью, и я сразу поняла, что в кладовой давно никто не перебирал мешки, потому что мята перебила бы затхлость, если бы ее хоть раз ворошили.

Я сняла сумку с плеча, поставила ее у порога и вошла. Первое, что я увидела, — мешки с крупой стояли вдоль стены, но не так, как я их ставила. Я всегда начинала от двери, слева направо, ровными рядами по сортам: рожь, овес, ячмень, пшено, а тут они были сдвинуты к центру, и между ними зияла пустота, как будто кто-то вытащил сразу два мешка и не потрудились подвинуть остальные. На полу валялась рассыпанная пшенка, и по ней прошлишь, и я увидела отпечаток мужского сапога с подковкой, какие носят дружинники, а не слуги. Я присела на корточки, подобрала горсть пшенки, растерла между пальцами. Крупа была сухой, но пахла чуть кисло, и это значило, что мешок протек давно, и никто не перебрал, и теперь подмокшее зерно тянет сыростью на соседний мешок.

Я выпрямилась и достала из сумки тетрадь, которую сшила вчера ночью в храме у писаря, пока он переписывал мне долговую страницу. Тетрадь была тонкая, в клееном переплете, с прошитыми листами, и я положила ее на первый мешок, раскрыла на чистой странице и вытащила из кармана огрызок карандаша. Я начала считать: мешок ржи, два мешка овса, мешок ячменя без верхней завязки, мешок пшена с дырой, три куля с мукой, два пустых места под крупы, которых не хватает. Я записывала ровным почерком, стараясь не торопиться, и цифры получались страшные: на двадцать слуг и дворню здесь еды не больше чем на две недели, и то если варить жидкую кашу без мяса.

Скрипнула дверь за моей спиной. Я не обернулась сразу, а сначала дописала строчку, потому что если я начну оборачиваться на каждый скрип в этом доме, то никогда не досчитаю мешки. Потом я подняла голову.

В дверях стояла женщина, которую я раньше видела только мельком, на ярмарке в столице. Она была высокая, в дорогом сером платье с серебряной вышивкой, и волосы у нее были убраны так, как у нас не убирают: высоко, в сетку из жемчуга, и от этого лицо казалось вытянутым и чужим. На руке у нее блестел браслет, тот самый, который я видела из окна, когда стояла во дворе.

— Вы, должно быть, Ясна, — сказала она. Голос был мягкий, поставленный, и от него у меня свело скулы, потому что так разговаривают женщины, которые привыкли, что их слушают с первого слова. — Меня зовут Вера. Вера Торвей. Арт попросил меня встретить вас и показать дом.

Я медленно закрыла тетрадь, прижала огрызок карандаша к странице, чтобы он не скатился, и выпрямилась. Колени у меня затекли от корточек, и я чуть повела плечом, разминая спину. Печать под рукавом дрогнула, но не обожгла, и я поняла, что от этой женщины мне не лгут, а просто смотрят, как на вещь, которую надо разложить по полкам.

— Вера, — повторила я, и имя у меня на языке стало чужим и жестким. — Спасибо. Я нашла кладовую сама.

Она кивнула, подняла ведро и пошла к кухне, и у самой двери остановилась, не оборачиваясь.

— Барыня, ужин сегодня в семь. Хлеб и соль на столе. Он не ест, пока ты не сядешь.

Она ушла, и я осталась во дворе одна, с ключами в кармане, с печатью, которая молчала, и с чужими духами, стекающими из окна моей бывшей спальни прямо мне на волосы. Я подняла лицо к этому окну и на секунду увидела в нем движение: кто-то отодвинул занавеску, и в просвете мелькнула женская рука с браслетом, которого я не знала. Потом занавеска упала, и окно стало слепым. Я перехватила сумку поудобнее, нащупала под рубашкой холодную пластинку футляра и шагнула к крыльцу.

Глава 5. Ворота усадьбы

Дорога от тракта до ворот Северинов идет через старую еловую просеку, и я знаю каждую кочку на этом спуске. Сапоги стерты до дыр, саквояж режет плечо, но я не останавливаюсь. В кармане пальто лежит повестка совета, мятая, с синей печатью, и от нее у меня горит кожа на скулах. Я иду в дом, который больше мне не принадлежит, к мужу, который при всем дворе поцеловал руку чужой невесте, и у меня в кармане лежит предписание явиться к нему под кров.

Просека кончается у кованых ворот. На столбе справа прибита новая вывеска, я не сразу читаю: «Усадьба Севериных. По делам рода — к привратнику». При мне нет ни одного дела, которое стоило бы этой вывески, но я все равно стучу в калитку костяшкой, и стук получается слишком громкий, почти злой. Внутри кто-то возится, скрипит засов, и я ловлю себя на том, что машинально поправляю волосы, как в первый год, когда приходила сюда невестой.

Калитку открывает сам Арт. Я ждала кого угодно, но не его. На нем темный кафтан, волосы влажные после бани, пахнет хвоей и чужим дорогим мылом, которое я не покупала. Я смотрю на его руку, ищу кольцо, но вижу только ссадину на костяшках. Должно быть, он готовился к совещанию и встретил меня случайно, иначе бы надел перчатки.

Мы стоим друг напротив друга. Саквояж давит мне плечо, повестка жжет бедро, запястье под рукавом тянет синим. Я знаю, что печать живая, и знаю, что она сработает.

— Ясна, — говорит он тихо.

Запястье обдает жаром, и я не сразу понимаю, что это не боль, а ответ. Печать слышит его голос и проверяет, что в нем правда. Он произносит мое имя так, как будто репетировал его на пороге, и это само по себе ложь, потому что за два месяца разлуки он не написал ни строчки.

— Я по повестке, — отвечаю я. — Срок до заката. Дай мне войти.

Он отступает на полшага, и этого хватает, чтобы печать остыла. Значит, «впустить» — не ложь, значит, он действительно готов меня впустить. Я заставляю себя не улыбнуться, потому что улыбка сейчас будет стоить дороже, чем весь долг Северинов. Я захожу во двор, и ворота за мной закрывает не он — ключница Марта, в сером платье, с лицом, на котором написано, что она ждала меня с утра. Она не здоровается, только сует мне в руку связку ключей на кожаном ремешке, тяжелую, холодную.

— Кладовая и счетная палата, — шепчет она, и я слышу в ее голосе больше, чем просто инструкцию. — Я проверила, что совет принес в реестрах. Там половина цифр липовая. Я нашла старую тетрадь покойницы, она в стене прачечной, за третьим камнем от пола.

Я сжимаю связку так, что металл впивается в ладонь. Прачечная. Стена. Третий камень. Я не успеваю ответить, потому что Арт уже идет к крыльцу, и я вынуждена либо окликнуть его, либо идти следом. Я иду следом, и мои сапоги ступают по камню, по которому ступали два года назад, когда я впервые вошла сюда женой, и подошвы помнят эту дорогу лучше, чем я сама.

У крыльца он оборачивается, и я впервые вижу, что у него на виске седая прядь, которой не было весной.

— Я не хотел изгнания, — говорит он.

Печать на моем запястье вспыхивает так, что я роняю связку. Марта подхватывает ключи раньше меня, молча, и прижимает к себе. Я поднимаю глаза на Арта и вижу, что он тоже держит левую руку у бедра, там, где у него, должно быть, горит ответная метка. Он действительно говорит правду. Или, по крайней мере, половину правды, потому что полную он бы не выдержал.

— Тогда зачем ты меня выгнал, — отвечаю я, и собственный голос звучит ровно, хотя внутри все трясется. Я не жду ответа, потому что совет ждать не будет. Я подбираю с его ладони связку, наши пальцы встречаются на секунду, и меня обдает жаром, но это уже его боль, не моя. Я захожу в дом первой, и дверь за мной закрывается с тяжелым, сырым стуком. В прихожей

пахнет травами и чужими духами, и я догадываюсь, что новая невеста уже присылала свои вещи. Я кладу саквояж на лавку и иду к лестнице, чтобы подняться в свою прежнюю спальню, потому что спальня у меня одна, и делить ее мне придется, хочу я того или нет. На ступеньке я оборачиваюсь: Арт стоит у порога и смотрит мне вслед, и я впервые за два месяца не знаю, чего он хочет. Я кладу руку на перила и чувствую, как под пальцами вибрирует дерево, и понимаю, что этот дом помнит меня лучше, чем его хозяин.

Моя прежняя спальня встречает меня тем самым запахом, который я ненавидела два года и по которому скучала все два месяца разлуки: сухой можжевельник, натертое дерево, старый воск и пыль на гардине, которую никто не снял. Я ставлю саквояж на кровать и слышу, как под подушкой хрустит что-то твердое, чужое. Я замираю, потом осторожно отгибаю край одеяла, и под руку мне попадает флакон из темного стекла с золотой пробкой. Духи. Чужие, сладкие, с апельсиновой горчинкой, которых в этом доме никогда не было, пока я была хозяйкой. Я подношу флакон к свету и читаю на донышке выжженное имя: «В. Торвей». Значит, новая невеста уже прислала свои вещи и уже успела оставить след там, где я ночевала в первую брачную ночь. Я не плачу, не кричу, я просто кладу флакон на комод и прижимаю к нему ладонь, потому что стекло холодное и это единственное, что удерживает меня от того, чтобы не швырнуть его об стену. Запястье под рукавом тянет синим, печать чувствует мою злость и одновременно мою неправду: я говорю себе, что мне все равно, и печать тут же отвечает коротким уколом. Значит, не все равно. Хорошо, хоть с собой я теперь договариваюсь честно.

Я открываю шкаф и вижу, что три моих платья исчезли, а на их месте висят два дорожных чехла из тонкой шерсти с серебристой нитью. Я трогаю ткань и чувствую, как она скользит под пальцами, дорогая, мягкая, как поцелуй, за который меня выгнали. Я считаю в голове до пяти и закрываю дверцу. У меня есть работа, и работа важнее, чем чужие духи в моей спальне. Я беру связку, которую отдала мне Марта, и перебираю ключи: три больших, два поменьше, один совсем маленький с медной биркой, на которой выбито «счет.». Маленький я цепляю на пояс, большой от кладовой сжимаю в кулаке и спускаюсь вниз, потому что Марта сказала «проверила реестры», и я не знаю, что хуже: то, что совет врет, или то, что Марта это заметила и молчала до моего прихода.

Кладовая оказывается за кухней, в сыром каменном мешке под лестницей, и я открываю дверь с таким скрипом, будто дом нарочно предупреждает меня, что я незваная. Внутри темно, пахнет мокрой рожью и мышинным пометом, и я зажигаю свечу от той, что горит у входа. Мешки с крупой стоят в три ряда, и я иду вдоль них, водя рукой по холсту, по завязкам, по швам. Первый мешок с овсом я развязываю и запускаю внутрь ладонь, и пальцы уходят в теплую, чуть влажную крупу, и я сразу понимаю, что она тронута: зерно липнет к руке, пахнет кислым, и под ногтями остается серый налет. Я высыпаю горсть на каменный пол и вижу черные точки и тонкую паутину плесени. Один мешок, второй, третий — в каждом одно и то же. Я открываю мешок с рожью, и там сухо, но зерно мелкое, почти половина — сор, а половина — оболочки, которые нельзя молоть. Я открываю бочонок с солью, и соль оказывается серой, с горечью, я пробую на язык и морщусь: разбавлена золой, чтобы вес держался. Я открываю последний мешок, и там гречка, но затхлая, и пахнет не гречкой, а старым подвалом. Я стою посреди этого и чувствую, как под рукавом медленно, тяжело пульсирует печать, потому что я считаю убытки и каждый убыток — это чья-то ложь.

В кладовую заглядывает кухарка Дарка, маленькая, с обожженными предплечьями, и смотрит на меня так, будто я пришла ее судить.

— Это не я, — говорит она тихо. — Это кладовщик Грым, он из Торвеев, его Арт посадил сюда после свадьбы.

Я смотрю на нее и вижу, что она говорит правду, потому что голос у нее дрожит и она переминается с ноги на ногу. Я не утешаю ее, у меня нет на это ни времени, ни права. Я достаю из кармана повестку совета, складываю пополам и подсовываю под крышку бочонка с солью,

чтобы помнить, зачем я здесь. Потом я беру с полки пустую тетрадь в кожаном переплете, на которой выжжено «расход», и кладу рядом с собой на мешок. Я открываю первую страницу и пишу число, месяц, «овес, 3 мешка, гниль, списывать», и сразу чувствую, как запястье отвечает коротким теплом: запись честная, печать молчит. Я выдыхаю и пишу дальше: «рожь, 2 мешка, сор», «соль, бочонок, подмена золой», «гречка, мешок, затхлая». Каждая строка — это мой первый шаг в этом доме, и каждая стоит мне больше, чем я готова признать.

Дарка стоит у двери, и я чувствую, что она хочет уйти, но не уходит, потому что ей страшно, что я уеду, как только узнаю, во что превратилась кухня.

— Дарка, — говорю я, не поднимая головы, — мне нужен чистый нож, чистая тряпка и второй ключ от погреба. Я буду перебирать все мешки до утра. Если Арт спросит, где я, скажи, что я в кладовой и чтобы не входил.

Она кивает и уходит так быстро, что слышно, как шуршит ее юбка за дверью. Я остаюсь одна, при свече, среди мешков, от которых пахнет чужой ложью, и впервые за два месяца мне не хочется бежать. Я хочу сидеть здесь и считать, потому что считать я умею, а верить — уже нет. Я развязываю четвертый мешок, и крупа сыпется мне на колени, и под рукой у меня тетрадь, ключ от счетной палаты и печать, которая горит ровно, как маленькая честная свеча.

Свеча оплывает на каменный выступ, и я слышу, как воск шипит у самого фитиля, и в этом шипении мне слышится голос Арта, каким он был два года назад, когда впервые привел меня в эту кладовую и сказал: «Здесь все настоящее, Ясна, здесь нельзя врать, зерно не обманешь». Я тогда засмеялась и не поняла, что он про печать, а не про крупу. Теперь я сижу на перевернутом ведре, спиной к двери, колени в просе, и передо мной открытая тетрадь, испи-санная до середины страницы, и я понимаю, что он тогда сказал правду, а я ему не поверила.

Шаги в коридоре я узнаю раньше, чем слышу скрип половицы. Тяжелые, медленные, с той короткой паузой у порога, когда человек решает, войти или пройти мимо. Я не оборачиваюсь, потому что боюсь, что если я обернусь и увижу его лицо в свете этой свечи, я не смогу держать рот закрытым, а мне нельзя говорить с ним до утра, мне нужно сосчитать, сколько серебра ушло Торвеям через подмену соли. Дверь открывается, и в кладовую тянет сквозняком с лестницы, пахнет холодным деревом и его кожей, и я чувствую, как под рукавом печать дергается вниз, к самой кости, как на привязи.

— Ясна.

Я не отвечаю. Я пишу в тетради «соль, подмена, разница в весе два фунта на бочонок, итого убыток за квартал», и буквы у меня выходят ровные, потому что я стараюсь. Он входит, и я слышу, как он ставит что-то на пол, и по звуку это не посуда, это что-то тяжелое, обернутое тканью. Я не поворачиваю головы, я пишу «гречка, затхлая, в пищу не пригодна, на корм скоту», и запястье тянет снова, и я понимаю, что он врет, потому что иначе бы не тянуло.

— Дарка сказала, что ты здесь.

— Я просила, чтобы ты не входил.

— Я не входил. Я стою у порога. Это разные вещи.

Я заставляю себя поднять голову, потому что мне нужно увидеть, что он поставил на пол, и потому что мне два месяца снилось это лицо, и я устала от собственных снов. Арт стоит у двери, плечом к косяку, руки в карманах дорожного плаща, и он в том самом сером кафтане, в котором был в храме, когда целовал руку чужой невесте. Я помню этот кафтан. Я помню, как сама зашивала на нем подкладку в первую зиму. Печать на запястье горит ровным синим, не сильнее, чем обычно, значит, он пока говорит правду или молчит честно, и от этого мне почему-то больнее.

На полу у его ног стоит глиняный горшок, обернутый холстом, и от него пахнет горячим хлебом и топленым маслом. Я смотрю на горшок, потом на него, и молчу, потому что любое мое слово сейчас будет или благодарностью, или ударом, и я не готова выбирать.

— Ты не ела с дороги, — говорит он, и голос у него низкий, ровный, и я ненавижу, что я помню, как он звучит утром, когда просыпается раньше меня и говорит в подушку, что кофе готов.

— Я не голодная.

Запястье тут же отвечает коротким уколом, и я закрываю глаза, потому что я только что соврала ему в лицо, и печать тут как тут. Арт это видит, я знаю, что видит, потому что он медленно выдыхает и опускает глаза на мою руку, на синюю полосу под рукавом, и лицо у него делается такое, будто ему дали пощечину, которую он заслужил.

— Ясна, — говорит он тихо, — я не буду просить прощения у этой кладовой. Я принес хлеб. Если ты не хочешь его есть, я поставлю его у двери и уйду.

— Тогда уйди.

Я не хочу, чтобы он уходил, я хочу, чтобы он вошел, сел рядом на мешок и помог мне перебрать крупу, я хочу, чтобы он сказал, почему совет посадил в кладовую человека Торвеев, и почему он не проверил, и почему он два месяца не написал мне ни строчки, кроме той повестки с печатью. Но я молчу, потому что я знаю: если я сейчас скажу хоть одно из этого, печать погаснет, а я не готова отдавать ему то единственное, что у меня сейчас работает. Он наклоняется, ставит горшок у порога, выпрямляется и смотрит на меня так, будто пытается запомнить лицо человека, которого сам же выгнал.

— Я ухожу, — говорит он. — Я не прикасался к тебе, я не приказывал. Я просто принес хлеб.

Я опускаю глаза обратно в тетрадь и пишу «подмена соли, виновник кладовщик Грым, посажен Артом после свадьбы», и буквы у меня снова ровные, потому что я держу руку, а сердце у меня не ровное, и я знаю, что он видит, как у меня дрожит плечо. Арт разворачивается, и дверь за ним закрывается с тем самым скрипом, с которым открывалась, и в кладовой снова тихо, только воск шипит и где-то наверху, в кухне, Дарка двигает чугунный котел.

Я сижу и смотрю на горшок у порога. Я говорю себе, что не встану, не подойду, не трону его хлеб, потому что это его хлеб, а я его ела только два года и больше не намерена. Запястье отвечает ровным теплом, и я понимаю, что это правда, потому что я не хочу его хлеб. Я хочу горячий хлеб из пекарни у рынка, с корочкой, которая хрустит, и солью, которая не разбавлена золой, но это уже не про него, это про меня.

Я встаю, подхожу к двери, поднимаю горшок и ставлю его на каменную полку у входа, туда, где его никто не тронет до утра, потому что я не трону его ни за что. Я возвращаюсь на ведро, открываю следующую страницу и пишу: «расход за день, мешки с овсом, номер один и два, в пищу непригодны, в переработку на корм». Печать на запястье горит ровно, как маленькая честная свеча, и я сижу в чужой кладовой, в чужом доме, в чужом платье, и впервые за два месяца у меня есть работа, которую я знаю, как делать, и человек, чей хлеб я не буду есть, и это больше, чем у меня было вчера.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.